

КЛАСИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Свидницький А. П.

ОПОВІДАННЯ
ТА
НАРИСИ



«ВІДКРИТА КНИГА»

2018

Свидницький А. П.

ОПОВІДАННЯ ТА НАРИСИ

ДВА УПРЯМЫХ	4
НА ПОХОРОНАХ	15
НЕРАЗГАДАННЫЙ ПРЕСТУПНИК	26
ПАЧКОВОЗЫ	34
КОНОКРАДЫ	45
ПОПАЛСЯ ВПРОСАК	54
ШИНКАРЬ	70
ЖЕБРАКИ	81
«ХОЧ З МОСТУ ТА В ВОДУ»	96
ЖЕЛЕЗНЫЙ СУНДУК	100
ЗА ГОД ДО ХОЛЕРЫ	123
ГАВРУСЬ И КАТРУСЯ	145
АРЕНДАРЬ	169
ТУДА И ОБРАТНО	194
НАРОДНІ ОПОВІДАННЯ	206
ПРИМІТКИ	230

ДВА УПРЯМЫХ

Не скажу, где это происходило, хотя вполне уверен в смерти обоих действующих лиц. Да, я не скажу этого, что-бы не шевелить страстей, не вызывать упреков за несбывшиеся надежды, за неосуществившиеся мечты.

А я помню те детские кружки, которые в свое время собирались где-нибудь в густой ржи или на высокой горе, чтобы помечтать на просторе, вспомнить прошлое из жизни, которая только что началась. Помню я и румяные личики, и звонкий голос, и резкий смех; помню счастливую пору и из своей жизни, и из жизни товарищей.

И сколько нет теперь в живых,
Тогда веселых, молодых!

Не только молодых, но еще детей! Того горе зашибло в цвете лет, и пропал бесследно; тот умер под стенами Севастополя;¹ того смерть сразила, не давши и вырасти; иной, наконец, сам лишил себя жизни. А все они когда-то жили, любили и были любимы, как дети, как товарищи. Теперь мы можем спросить только: где их могила? А тогда они были веселы и шаловливы и не могила ждали от жизни. И кажется так близко то время! Кажется, вчера только или третьего дня я целовал руку матери, а она благословляла сына, выпроважала в училище; еще звенят в ушах ее слова. А между тем, от этих уст и этой руки, быть может, и в могиле нет следов. Прошло! Но мы здесь помним то, что прошло. Вспомним в убогом местечке убогую церковь под красною крышею и те леса, куда на рекреации ходили, и те тропинки, змейками вьющиеся по горам, куда ходили, бывало, босыми ногами. И какое счастье вырваться из грязного местечка на чистый воздух, в горы, где нет ни друзей, ни врагов, где ограничен только горизонтом. С этой горы, как орлу с поднебесья, еще видны кривые улицы, дома под черепицею. Пойдем далее, взберемся выше;

¹ - ...тот у мер под стенами Севастополя...- тобто загинув під час Севастопольської битви 1856 р.

сядем вот под тем камнем. Там и тени много, и струится ключ; там умоемся и посидим или покачаемся на траве. Не страшны для нас змеи ядовитые; наше сердце чисто, наша жизнь только начинается, наши надежды только в зародыше, и никакая змея не будет столь лукавою, чтобы убить нас, не давши испытать ни горя, ни счастья, не давши убедиться, что жизнь наша - дремота, а наши надежды - сон. А вот и орел сидит надувшись, а вокруг него - сотни ворон. Чего они ждут от царя птиц? Милости, награды или наказания? Или, быть может, их собрало любопытство? Ни одна не каркнет, не шелохнется, будто они не живы, будто это не птицы, а чучела, будто это не на горе, а в зоологическом кабинете. И вокруг все тихо, только изредка застучит по скалам камень, столкнутый нашими ногами. И мы смотрим, где он остановится. Но он все скачет со скалы на скалу, стремится все с большей быстротою, наконец, ударился, разбился,- и загрохотали осколки вдали, и эхо повторило звук своими перекатами.

Мы тогда не знали, что часто так разбиваются надежды человека, только без треска и без эха. Мы не знали этого, и, как бы в укор своему детству или в оправдание другим, зачатки наших надежд, наши тогдашние взгляды называем иллюзиями.

Но не пора ли и назад? Ведь солнце близко к закату, скоро к вечерне зазвонят. Плохо будет, если опоздаем. У нас же, как нарочно, и инспектор такой сердитый. Скорее назад, без оглядки, мы ведь верст пять от местечка. И карабкаешься с горы на гору, с пригорка на пригорок. А вот и в колокол ударили. Постоял бы, полюбовался, как эхо повторяет этот призыв к молитве. А звон так явственно раздается в горах. Будто и в самом деле народные сказки о подземных храмах - не сказка, а правда. Приложите ухо к земле и убедитесь, что звон достигает вашего слуха не по воздуху, а под землею. Так и кажется, что звонит в горé. Подождал бы, послушал бы этого подземного звона, но нельзя, надо спешить в церковь. Скорее! Устал, изнемог; пот градом катится, зато как благодатна освежительная прохлада в церкви. Пока положил два-три поклона - и усталость прошла, и пот унялся, и снова так хочется в горы, так и манит полюбоваться заходом солнца. Пошел бы да там и заночевал, чтобы посмотреть еще, как завтра

будет солнце всходить. Но, кроме волков, и инспектора страшно: посечет, если опоздаешь к заутрене.

И после целую неделю вспоминаешь свое путешествие, опять ждешь субботы, чтобы пойти еще дальше, забраться еще выше. Все это было когда-то и никогда уже не будет. Не воротится детство, не воскреснут пропавшие силы; только горы стоят немymi свидетелями несбывшейся мечты да по временам приходит на память одна-другая история. На этот раз поделимся с добрыми людьми тою, которую грешно утаить. Из нее могут извлечь хороший урок родители и воспитатели.

Был июнь месяц 1848 года. В это время воспитанники духовных учебных заведений помышляют уже об экзаменах и о каникулах. Какое счастье поехать домой! Там пасека, баштан; жнут, свозят, собирают фрукты. Мать приласкает, сестра поцелует... Какое счастье! А жива ли лошадка, что отец подарил? Может стать, ее украли? О нет! Никакой вор этого не сделает. Чем мы виноваты, чтобы вызвать такую беду с его стороны! Нет, лошадка цела и жива и здорова.

С такими и подобными мыслями шли ученики из церкви в то воскресенье, когда начинается наш рассказ. Кто тихо шел, а кто бежал в долину - церковь там, на горе, - только полы развеваются. Но вот вдали перед нами стоит кружок учеников, все увеличивающийся. Подойдем и мы и посмотрим, что там такое.

В то время я был в низшем отделении приходского училища и присоединился к кружку как-то съездившись, потому что там стояли ученики все высших классов. Между ними был один, с которым я жил тогда в одной квартире; это дало мне смелость остановиться и послушать, о чем толкуют.

- Ну, Митя, так придешь на чай? - спрашивал именно мой сожитель своего товарища - ученика третьего класса.

- Как не прийти! Приду, непременно приду, - как-то безразлично и скороговоркой ответил приглашаемый.

- Не забудь же!

- А в котором часу прикажешь?

- Часов в пять-шесть вечера.

- Непременно буду.

Чаю у нас не пили и даже самовара не было, а потому я легко догадался, что в этом приглашении следует понимать что-то другое, а не чай; но так как приглашал ученик высшего класса, то для расспросов не было места. Осталось ждать. Дома и дорогою я рассказывал товарищам и знакомым, что Митю пригласили к нам в квартиру на какой-то чай, а потому, когда он пришел, нас собралось в комнате не менее пятнадцати душ, если не более.

- Молодец! Сдержал слово,- сказал приглашавший.

- Как не сдержать. Я человек точный,- сказал Митя.

В то время были в ходу кожаные пояски с медными крючками, стоившие по пятнадцати копеек серебром. Пригласивший показывает Мите такой пояс, старую манишку и еще старейший картуз: «Вот это,- говорит,- мой самовар».

- А сколько в нем стаканов? - спросил Митя.

- Двадцать.

- Много, вероятно, десять?

Остановились на шестнадцати. Ни я с товарищами, ни ученики первого класса ничего не поняли из этого разговора; но вскоре все объяснилось; Митя лег на скамейку, а пригласивший его на чай - парень лет семнадцати - отсчитал ему шестнадцать ударов пояском что есть силы и тем концом, где был крючок. А Митя только потягивается да приговаривает: «Господин учитель! Господин учитель! Лучше, лучше, лучше! Секи его».

Если бы я не был очевидцем описанного, то счел бы подобный факт клеветой; а теперь должен прибавить, что Митя, вытерпев испытание, взял предложенные ему вещи и, довольный, пошел в другую квартиру тоже на чай.

Не гнусность поступка со стороны пригласившего занимала меня, а то, как-таки Митя, ученик 3-го класса, допустил себя до такого позора? Быть битым с корыстной целью за пояс, манишку и ни к чему не годный картуз, и да еще в чужой квартире, при учениках низших классов и при растворенных дверях, в которые смотрели хозяева, прислуга и т. д.- просто непонятно. А бивший только руку расправляет: «Ох, руку сорвал!» - говорит.

Много воды уплыло с тех пор, много лет прошло, но я и теперь помню матовое лицо Мити, его вздернутый нос, маленькие

глаза, нечесанные волосы. Помню его серый суконный сюртук, разорванный под правой мышкой и без нескольких пуговиц. Помню и угреватое лицо пригласившего Митю. Все помню, как будто это происходило вчера или сегодня. И грустно, что мне суждено помнить и оглашать дела безотрадные. Почему бы и не улететь из памяти безвозвратно, как прошли те лета - лета надежд и доверия. Теперь и вспомнить грустно, а тогда давило какое-то особенное любопытство, не дававшее покоя до тех пор, пока я не сблизился с самим Митею и пока он сам не развязал узла. Были ль с моей стороны поводы к сближению, не помню; но полагаю, что были. Во всяком случае, я сблизился с ним, с этим несчастным, а что будет далее - просим внимания.

Кончился второй год после приглашения Мити на чай. Митя был тогда уже в четвертом классе, а я в третьем. Опять было лето и опять июнь месяц, только уже в исходе.

Я лежал под грушею, а вдали ученики разных классов играли в мяч. Особенно резвились те, кто не надеялся перейти в высший класс. Тогда я был уже близок с Митею. Мы не были друзьями, правда; я был слишком недорослый для того, чтобы подружиться с ним. Он был мужчина, а я дитя; мне был тринадцатый год, а ему двадцатый. Я в то время расцветал, а он успел уже увянуть. У него было все такое же матовое лицо, те же нечесанные волосы, такой же серый сюртук, как и прежде, только теперь борода и усы покрылись тонким пушком. За что полюбил меня Митя - не знаю; но он меня любил и от меня одного не скрыл своей тайны. Я не вызывал его на откровенность, хотя и не прочь был это сделать; он сам захотел объясниться и объяснился. Он как бы нарочно искал случая для объяснения и пришел ко мне под грущу будто нечаянно.

- О чем задумался? - спросил Митя, садясь возле меня в тени.

- Так себе,- ответил я,- экзамен близко.

- Тебе ли бояться экзамена! - продолжал он.- Если бы я был первым учеником, то плевать бы стал на все экзамены.

Так завязался разговор, мало-помалу перешедший в простой рассказ со стороны Мити, запечатлевшийся в моем сердце огненными буквами.

- Ты,- сказал мне Митя,- и я - две вещи разные. Я буду исключен и так пропаду; а ты перейдешь в семинарию, может быть, поступишь и в академию. Кто знает, может быть, ты будешь и архиереем! Но чем бы ты ни был, не забывай того, что я сейчас расскажу, чтобы и на твою душу не упали слезы сироты или вдовы. На моей душе их нет и никогда не будет, а твое еще впереди. Я люблю тебя и тебе одному скажу всю правду. Она тебе пригодится. Слушай же. Может быть, ты будешь когда-нибудь учителем,- не секи учеников. Ученик - дитя; его надо любить, а не бить, исправлять ласкою, а не прутьями.

Я малый способный, и в третий класс перешел в первом пятке. Так бы шел и дальше, если бы не мой несчастный упрямый характер, да не такой же характер у Васюка (так дразнили одного учителя). Столкнулись два горшка: один должен был разбиться. Да, меня погубил именно характер. Может быть, и тебе на веку встретится подобный характер; не сердись на него, уступи и дай хорошее направление. С упрямого выйдет добро, если повести его хорошо, или разбойник, если довести его до отчаяния. И я... Ты думаешь, у меня нет позыва в лес? Есть, ей-ей, есть. Ушел бы в лес, в горы, чтобы не видеть людей, не слышать плача невинных, не видеть радости обидчиков. Да, ушел бы; но опять то же упрямство удерживает меня. Наперекор судьбе, на зло Васюку буду жить среди людей. Буду несчастен, я знаю. Никто меня не будет любить, и я никого, я в этом уверен. А что жизнь без любви, без приязни? Такой человек - полено, а не человек; для него нет места между людьми. Живые его отвергнут, как мертвого; а мертвецы не примут, потому что он еще жив. Такова и моя судьба, я знаю; но я никуда не пойду от людей. Умру под плетнем, но в населенном месте. Васюк, без сомнения, и не услышит об этом, но я так хочу, и конец. А у меня так. Если я хочу, так это закон; никто меня не переможет. В этом все мое несчастье, вся моя погибель. О, если бы у меня не такой характер!

Я что-то думал, слушая Митю, что-то говорил, чтобы утешить несчастного, а между тем самому хотелось плакать.

- Ты знаешь,- продолжал Митя,- что я сирота? У меня нет матери, умерла,- умерла тогда, когда я был первую треть в третьем

классе. Чтобы не печалить нас (мы тогда оба - я и брат - были в училище), отец не взял нас домой на праздники. Он хотел лучше-го, а вышло худшее. Скучал я, смотря, как товарищи разъезжаются; скучал целые праздники. Брат пойдет на салазки, а я лежу, смотрю в потолок с утра до вечера. А дни выходили такие длинные! Хозяйка заведет гостей, пьют, пьют; а я думаю: что там у нас дома? Веселятся или плачут? Я тогда еще не знал, что мать умерла.

Так я провел целые праздники. Но вот наконец восьмое, девятое января; съехались товарищи, рассказывают, как проводили время среди родных, а у меня нечего вспомнить. Тяжело, пусто; будто я с другой планеты упал или другую веру исповедую, что для всех были праздники, а для меня хуже будня. Хотя бы, думаю, уроки поскорее; пусть бы занялись делом и не надрывали сердца. И как я был рад, когда наконец зазвонили в класс! «Слава тебе, господи,- думаю,- будет чем заняться».

Первый урок был латинский. Васюк был учителем латинского языка. Задал он урок,- и я рад, что большой, что будет чем заняться. Приготовил тетради и все как следует. На другой день назначили и греческий урок. Мне и легче, что вот-вот войдем в обыкновенную колею и жизнь пойдет как по маслу. До этого времени в на всех волком смотрел, а теперь и посмеяться и пошутить явилась охота. И на лед хочется, и на салазки манит. Словом, началась другая жизнь; но здесь-то и начало моей пагубы. Перед вечером другого дня, т. е. едва я начал готовить первый урок латинского языка, приехал мой отец. Швырнул я книгу в угол и чуть головы себе не сломал, бросившись из комнаты.

- Как матушка? Жива, здорова? - спрашиваю.

- После, после,- ответил отец,- дай обогреться.

А слезы так и покатались по щекам. Я тотчас догадался, что наша добрая, нежная мать переселилась в лучший мир, и заплакал навзрыд: «Не увижу я тебя более,- думаю себе,- вспомнила ли ты меня в последние минуты? Отчего не могу поцеловать тебя еще раз?» Отец хотел успокоить меня, но только хуже разжалобил, потому что сам не мог говорить от плача. Да это еще не беда, поплакали и перестали; но я по этому обстоятельству урока

не выучил. Вот в чем беда.

Васюк любил сечь и сек немилосердно. Отсчитать дитяти полсотни для него ничего не значило. Таков он был! А мне был тогда двенадцатый или тринадцатый год. Вот прихожу я в класс, сел и сижу, а мать мне из ума не выходит. От вечера до прихода Васюка в класс я, кажется, припомнил все слова матери, все ласки ее, начиная от самых пеленок, и тем более плачу, чем более припоминаю. Через слезы я в книгу не посмотрел; в слезах застал меня Васюк. Были у нас плаксы, что не выучит урока, а после рыдает, боясь, что выпорют. На таких, обыкновенно, и накидывался Васюк, чуть в класс войдет. Я не из таких был. Поленишься - высекут; не ленись. Поделом вору и му́ка; а хныкать чего тут! А лениться я мог, т. е. не лениться в собственном смысле этого слова, а, бывало, раскаприжусь и не выучу урока. Не понравится, например, в уроке одно слово - и брошу учить. Я помню, что однажды не выучил урока потому, что в именах, кончающихся на *en* попалось слово: *splen* - тож. «Какой это «тож»?» - спрашиваю себя. Не мог объяснить и бросил книгу. Или другой раз из русской грамматики не выучил потому, что не знал, что такое жидок - жиже. Я тогда не знал, что это жи́док, а думал, что жидо́к (еврей). А как это из жидка выходит жиже? Из имени существительного сравнительная степень? Не понял и не выучил урока. Бывало сойдет; бывало и пороли. Но я не обижался; виноват, значит, так и отвечай. И слезами я никогда не заливался в подобных случаях и никогда не выпрашивался. Не таковский был. Но Васюк думал, что я, как и другие, хнычу от страха, и чуть пришел в класс - сейчас же ко мне:

- Ты знаешь урок?

- Нет,- говорю,- господин учитель, не знаю.

- В сенцы,- говорит он.

Васюк, бывало, сечет или в классе, или в сенцах. В классе - когда добр. Тогда даст розог пятнадцать-двадцать и садись. А когда бывал зол, то высылал в сенцы. В таком случае уже не рассчитывай получить менее пятидесяти. Да еще, бывало, сяк-так, когда сам ходит по классу; товарищ сжалится и пятый-десятый удар пустит мимо. Но вот горе, когда станет в дверях! Мало того,

что считал на сотни,- ни один удар не пройдет мимо. Кровь ручьями льется, а он, знай, покрикивает: «Качай, качай!». И закатают так, что не одного и на простыню скатывали. Я это знал, не раз и видел, поэтому мурашки полезли по коже, когда услышал: «В сенцы». Но сверх того, и что важнее всего, мне было обидно, что я не по лености и не по капризу не выучил урока, и, против своего обыкновения, начинаю проситься:

- Господин учитель,- говорю,- я выучу к следующему разу. Теперь отец приехал, и я не мог.

- Так ты,- говорит,- теперь не мог выучить одного урока, а к следующему разу сможешь приготовить два! В сенцы!

Я клянусь, что выучу, что я не по лености не готов; но он ни на что не обратил внимания - в сенцы, и конец. Пошел я и, остановившись у самого порога, говорю:

- Господин учитель! Если вы простите этот раз, то я всегда буду знать лучше всех.

И сдержал бы слово.

- А если не прощу? - спросил Васюк.

Я не знал, что сказать.

- Ну, что если не прощу?.. А, так ты вздумал еще грозить! В сенцы!

У меня и в мысли не было грозить чем-либо. Я думал выручить себя обещанием самого лучшего; но Васюк сам навел меня на недобрую мысль, которая и погубила меня. Мне так и мелькнуло в уме: если не простите, то перестану учиться. Я и сказал что-то в этом роде.

- А вот увидим,- сказал Васюк.- Берите его.

Взяли меня,- и я взял не один десяток. И еще больнее стало, когда увидел поток крови на полу. «Матушка моя! - подумал я.- Видишь ли ты мою кровь? Посмотри с неба, сжался надо мною, сиротою, и вымоли у бога наказание для этого изверга!» Я был оскорблен и прибавил: «А для меня, матушка, вымоли у бога силы и терпения. От сегодняшнего дня Васюк не услышит от меня ни слова». С этой решимостью вхожу в класс, положил три земных поклона и говорю Васюку:

- Клянусь памятью покойной матери, клянусь и присягаю,

что вы впредь не услышите от меня ни слова.

Я сделал плохо. Я погорячился и поклялся; может быть, я и не сдержал бы своей клятвы, если бы не нашла коса на камень. Васюк также был упрям, и я пропал.

- А вот попробуем,- говорит,- может быть, добудем у тебя и не одно слово. Возьмите-ка его в сенцы да получше!

Теперь я пошел в сенцы молча. Долго меня секли. Сначала я считал удары, потом сделалось дурно, в глазах потемнело, и я перестал понимать. Товарищи рассказывали, что я и не пискнул. А Васюк стоял в дверях да только: «Ну-ну, ну-ну!» Удивлялся, значит, моему терпению.

Когда я пришел в себя, то увидел, что сижу в сенцах в углу и весь пол устлан осколками розог. «Господи,- думаю,- и сколько это пришлось мне получить?» И начал считать избитые, тут же валявшиеся розги. Их было семь. Значит, на мне семь пучков избито! Ничего, думаю, на первый раз! И опять обратился к матери: «Матушка, говорю, моя родная! Видишь, как меня бьют. А кто приласкает меня, сироту? О, вымоли у бога терпение для меня!» - И она вымолила.

С тех пор через день секли меня два года без трети, т. е. сек Васюк каждый день, когда бывал его урок; но я никогда не сказал ему ни слова. Да не в том дело. Я хотел сказать тебе, если бы Васюк не высек меня в первый раз, я был бы отличным учеником и теперь мечтал бы о семинарии, а не думал о смерти под плетнем. Хотя с другим учителем я жил в ладу и не выходил из первого разряда, однако оставлен был на второй курс в третьем классе. Остался бы и на третий, если бы Васюк не уволился. Но что с того, что я перешел в четвертый класс? Что я теперь? Дрянь, тряпка. Я сам сознаю, что я должен быть исключен, и уже просил об этом. А этого не было бы. Я был бы, может быть, украшением училища; а теперь я позор для него. Ведь я ходил по квартирам, чтобы меня секли! Да, я за это целовал руки. Для меня наказание сделалось необходимостью. Я не в силах был вытерпеть, если меня не били сряду два дня. И с каким наслаждением я принимал удары. Казалось, и кости расправляются, и сердцу легче; просто я трепетал от удовольствия при одной мысли, что вот наконец ме-

ня будут бить. Особенное наслаждение доставляли мне удары сплетенным утиральником. Пробовал я и палку; но неприятно: удар палкою какой-то жесткий и неравномерный, а утиральник так и охватит все тело. Блаженство! Это не боль, а какое-то приятное ощущение, отрезвляющее, согревающее. Так вот до чего довел меня упрямый характер. Я виноват, правда, за то и пострадал; но я был ребенок, я меньше виноват, нежели Васюк. Ему, как учителю, следовало бы быть поумнее.

Потому-то,- заключил. Митя,- я и передаю тебе все, что ты, без сомнения, кончишь курс и, быть может, будешь учителем. Храни в памяти мой рассказ, и если ты хоть капельку расположен ко мне, то не обвиняй меня. На всем свете я люблю тебя одного; скажи мне, что я не виноват!

Я всилу удерживал слезы, слушая Митю, и, вместо ответа, обнял его и поцеловал, потому что говорить не мог, а плакать совестился. Митя как-то принужденно усмехнулся и пошел в поле. долго я смотрел ему вслед и до сих пор помню его неизменный серый сюртук, взъерошенные волосы, изогнутую спину и руки за спиною. Это было последнее наше свиданье. Митя, по-видимому, ради меня и оставался в местечке, т. е. ради объяснения со мною, потому что с этих пор всячески избегал встречи с кем бы то ни было и особенно со мною. Ему как будто было совестно за свою исповедь. И до выезда на вечные каникулы он жил особняком. Чуть солнышко всходит, смотришь, Митя далеко-далеко на горе. Закат солнца застает его на другой горе. Стоит один, как журавль, лицом к солнцу, и чуть заметит, что кто-либо держит путь в его сторону, так и скроется. На публичном экзамене оказалось, что он действительно исключен.

Последние сведения о Мите я получил от его брата спустя шесть лет. По его словам, Митя жил при отце, никем не любимый, но и не ненавидимый и никого не любя. Сшил он себе из простого сукна пальто с капюшоном; железною щеткою взъерошил на нем ворсу и так ходил лето и зиму, надевая капюшон вместо шапки и куря васильки вместо табаку; очень редко произносил слова два, никогда не смеялся и всегда смотрел в землю, по временам вздрагивая.

НА ПОХОРОНАХ

I

Лет около тридцати тому назад один упразднившийся (в Подольской епархии) приход был поручен наблюдению заштатного священника NN, глубокого старика. В нашем крае водится насмешка, что у православного священника непременно есть или рябий пес, или лиса кобила, или сын Иван, или дочь Мария; но у этого ничего не было: из потомства он пережил правнуков и остался безродным, а в хозяйстве не имел, как говорится, *ні шерстини*, потому не держал и собак.

В свое время он был куренным атаманом в Сечи, почему часто употреблял поговорку: *кошовий батьку*, а как потом из запорожца сделался он священником, никому не известно. Из грамоты же видно было, что рукоположен в Луцке и получил приход в теперешнем Балтском уезде. Сколько имел он лет от роду, сам того не знал, но самые старые из местных жителей помнили его уже седым. Зализняка² и Гонту³ знал он лично; во время нашествия Наполеона⁴ похоронил последнего внука, а в 1828 г. - последнего в роде - своего правнука. Потому все священники называли его *татунем*.

- А сколько вам лет, татуню? - однажды спросил его священник, которого называли уже дедушкой.

- Авжеж більше, як тобі, коли татом звеш,- ответил спрошенный.

- Однако?

Указывая на полувысохшую яблоню, что росла перед окнами,

2 - Залізник Максим (н. на поч. 40-х років XVIII ст. - р. см. невід.) - запорізький козак, один із керівників народного повстання 1768 р. проти засилля польської шляхти - Коліївщини.

3 - Гонта Іван (р. н. невід. - 1768) - один із керівників Коліївщини.

4 - ...нашествия Наполеона...- тобто вторгнення військ французького імператора Наполеона I (Наполеона Бонапарта; 1769-1821) в Росію 1812 р.

татуня ответил:

- Так-то, кошовий батьку... Эта яблоня, верно, еще зернышком была, как я уже на *коні грав*.

- А шаблюка брязь, брязь! - насмешливо заметил дедушка.

- Эх, блазень! - с досадой сказал татуня и вышел из комнаты, вполголоса читая: «Помилуй мя, боже».

Все любили татуню за его бесцеремонность и веселый нрав, за его доброту и чистосердечие, все уважали его; даже поляки, которых он называл *деведенниками*,⁵ не могли не относиться к нему с почтением. Вот почему не было охотника лишить татуня места, т. е. занять наблюдаемый им приход, который оттого и считался праздным из года в год. И ничто не предвещало кончины старика. Бодрый, веселый, постоянно здоровый, он, казалось, переживет и новорожденных младенцев, как пережил своих сверстников, своих детей, внуков и правнуков. И меньше всего он боялся смерти, даже любил шутить, когда о ней заговаривали.

- Пора вам, татуню, честь знати! - однажды шутил приехавший в гости священник.- За вами уже давно кладбище нудиться.

- Либонь ти нудишся за пундиками,- ответил татуня,- та обличись, бо не покличу на похорон.

- Пундыкы пундыками, а для вас стыдно жить, когда моложе вас старики померли.

- Бо дурні були. А я хіба дурень умирати!

«Бо дурень», «бо дурна» - было обыкновенным отзывом татуня при сообщении ему о чьей-либо смерти. Но, достигши сам такого возраста, когда от жизни осталось ждать только смерти, от современников - похорон, а от мира - могилы, он любил заговаривать об этих предметах и тогда бывал необыкновенно весел и разговорчив. Особенно он любил передразниваться ими с церковным старостою своего прихода, также глубоким стариком, с которым был на ты. Оба они не имели никаких интересов, общих им с современниками, и привязались друг к другу, как сверстни-

5 - Деведенник - прозвище для католиков, основанное на народной легенде, объясняющей по-своему причину разницы в начале великого поста. Семь дней масленицы в первые два дня великого поста, т. е. девять этих дней, дали начало прозвищу.

ки, ссорились, как дети, и, поссорившись, расставались, чтобы снова сойтись, поссориться и расстаться,- а затем опять и сойтись и начать то, что не раз начиналось, и кончить тем, чем всегда кончалось.

- Чого розходився? псе старий! - упрекнет татуня, когда староста начнет ворчать.

- Бач, який молодий! - заметит староста.- Чи не оженився б?

- Хіба що? Хіба не молодець? - начнет татуня, подбоченясь.- Теперішні парубки і на весіллі не втнуть такого гоцака, як я ось зараз. Хочеш? Докажу! - скажет татуня, притаптывая ногами.

- Тю-тю! Смерть за плечима!

- Кошовий батьку... На тебе вже й косою замахнулась.

- А проте тебе швидше зітне.

- Ні, тебе! Я ще й поховаю, *безлична*⁶ заспіваю.

И начнут переговариваться, кто кого похоронит, и подразнивать, кто на чьей могиле ударит *гоцака*, «*що аж дубовина*⁷ закрипить».

- Ой, та коли б же я та швидше умер; а нечиста сила тебе підкусила ударити гоцака! - воскликнет староста нараспев.

- Ти швидше умреш,- скажет татуня,- і я втну гоцака. А як нечиста сила тебе підійме, то назад дірки⁸ не знайдеш. Ге!.. кошовий батьку... У мене запорозькі кулаки! - воскликнет в свою очередь татуня, показывая кулак, обросший волосами, как у Исава.⁹- Дивись! - скажет он, указывая на волосы. - Чи в тебе так? А кості!.. Подивись! Ребра потрошу будь-якому бісу!

- А у мене хіба що? - ответит староста, показывая свои руки.

- У тебе?.. Ге!.. кошовий батьку... У тебе... Просунь крізь дірку, то скажу, що дівка. Такі в тебе кості, кошовий батьку.

Сравнение с *дівкою* было кровною обидою для старосты. И

6 - Шутка - *вм[есто]* вечная память.

7 - Гроб.

8 - Народное поверье говорит, что ходячие мертвецы выходят из могилы сквозь дырку, через которую и возвращаются в гроб.

9 - ...как у Исава...- тобто у біблійного героя, якому приписували велику фізичну силу; його тіло було покрито рудим волоссям.

он в подобных случаях, бывало, уходит, насупившись. Тогда татуня выбежит из комнаты и воротит *побратима*. «Та чи нам же то сердитись!» - скажет татуня. И вполне убежденный староста, что не им сердытысь, возвращается. Но, бывало, и татуня надуется. Тогда выйдет староста в сени и, едва надевши шапку, слегка отворит дверь и спрашивает: «Чи годі вже, чи ще?»

- Йди, йди к бісу! - ответит татуня.

- То й піду,- скаже староста и притворит дверь.

- К чорту або й далі.

- Що кажеш? - спросит староста, слегка отворивши дверь.

- Що ти дурень.

- Слава тобі, господи! Слава тобі! - скажет староста и притворит дверь.

У татуни тем временем пройдет хандра, и он раскается, что сам согрешил и другого довел до греха, и, читая «помилуй мя, боже!», бежит и возвращает старосту.

Так проводили они день за днем, год за годом, не тяготясь жизнью, впрочем скучая, что бог не посылает смерти.

- І чому се ми не вмираємо? - спросил староста в холеру 1831 г.- Смерть всюди косить, як коси не притупить, а нас минає... Чому б це?

- Ге!.. кошовий батьку... А чому, як поїде хто в ліс по дрова, то вибирає, котре м'ягче та рівніше дерево? Так смерть - нас минає, як тої кривуляки; бо в неї зубів нема подужати наше заков'язле тіло.

- Знаєш, я хотів би вмерти,- продолжал староста, качая головою.

- Мені б давно пора, та ба! - сказал татуня.- А зрештою,- продолжал он,- я на сім тижні умру...

- А я гоцака втну! - воскликнул староста.

- Підкуй же чоботи, бо подумаю, що в постолах,- сказал татуня.

- Хоч би й босака! Хоч і сало, аби за м'ясо стало.

Против обыкновения, татуня задумался и не отвечал.

- Чого надувся, як ворона на полукіпку? - спросил староста.

- Давно я бачив ворону на полукіпку, та вже більше й не по-

бачу; вже мені минула остатня паска,- ответил татуня.

Татуня говорил с такою уверенностью, что староста забыл го-цака.

- Що ж маю робити? - спросил он с выражением грусти о своем одиночестве. Но татуня, будто не понявши, сказал:

- Спросіть попів, та швидше, щоб мені масло святее зробили.

Староста исполнил волю татуня: немедленно отправился и пригласил священников. Впрочем, он не верил татуню, хотя и страшно было сомневаться.

Не далее как на следующий день собрались священники, прощенные и непрощенные, кто только слышал о елеосвящении. Все спешили, надеясь видеть татуня в постели, при последнем издыхании, а может быть и бездыханным. И всем грустно было. Но, заставши его в церкви бодрым, как всегда, подумали, что старик сыграл штуку, соскучившись без гостей. И весело проводили время, предполагая, что татуня просил елеосвящения из предосторожности, тем более что и сам он не отставал от веселой компании. До вечера не многие из гостей думали о завтрашнем дне, и по заходе солнца все враз хотели отправиться.

- Часок-два еще погостите,- просил татуня,- а после уже разъедетесь. Мне не хочется оставаться одному так рано.

Некоторые уважили просьбу и остались, другие уехали. Продолжался говор, смех. Вдруг татуня, среди общего веселья, встал и пригласил гостей в другую комнату. Усадивши всех где попало, сам сел на постели и первый начал шутить. Но как-то не клеились его шутки; он казался каким-то озабоченным или изнуренным; заметно было, что принуждает себя к веселости. Однако он не соглашался отпустить гостей. Всем бросилась в глаза такая ненормальность в поведении татуни, но никто не мог объяснить себе причины ее. Наконец татуня закрыл глаза, будто начал дремать.

- Вы спать хотите? - спросил один из гостей,- ложитесь, мы разъедемся и сами.

- Простіть мене! - сказал татуня,- і раз, і другий, і третій!

- Бог простить,- ответили гости, думая, что он извиняется, когда же татуня лег, не раздеваясь и не сказавши более ничего, то

один спросил его:

- Что с вами? *Татуню!*

- Умираю,- ответил он.

- А вы ж говорили: дурень той, хто вмирає,- продолжал спрашивающий, думая, что татуня шутит.

- Дурень той, хто після мене на світі остається,- ответил татуня, открывши глаза. Но закрыла их уже чужая рука; едва замерла на устах шутка, как прекратилась и жизнь говорившего...

II

- Не буде уже такого священика! - рассуждали старухи в углу комнаты, в которой лежало тело татуни.- Що за добрий був, що за простий!

- Не знаєш ти нічого! Се не той батюшка, що я зазнала його в м'ятеж. Тоді він бравий був! Дався він ляхам взнаки!

- А розкажи, сестричко!

И старуха начала:

- Гнали солдаты пленных турок; один заболел, и его бросили под шинком: издохнет, говорят, и здесь; а люди не дадут сгнить среди села, выволокут.

Пошли солдаты, а турок лежит под шинком, только стонет. Испугались наши, не чума ли его душит, и скорее к батюшке, а батюшкой в этом селе был этот самый покойник,- такой же седой, как и теперь. Он знал все турецкие бусурманские обычаи и тотчас же спросил о чем-то больного на их языке. Посмотрели бы вы, сестрицы, как заблестели глаза у *невіри*, когда он услышал свою речь! Как два уголька!..

Вот батюшка и взял турчина к себе, и вылечил, и выучил, и окрестил. Научил его батюшка читать и петь. Любо было послушать, как это *вихрист* читает и поет на клиросе. Куда нашему дьячку! Ни голоса такого нет, ни такой отчетливости. *Аж охитніше в церкві стоялось!* И любил его батюшка, как дитя свое, а турчин любил покойника, что отца родного. Оба они хорошо делали, потому что каждый заслужил любовь другого. А прихожане

и рады тому, что они любятя, потому что, думали, не разлучатся, и мы будем иметь обоих хороших - батюшку и *піддячого* (пиддячим мы звали турчина, хотя он и не был помощником дьячка, а только пел и читал на клиросе). Так вот, громада рада - и *байдуже*, а того никто не знает, что батюшка хочет повезти своего турчина в Каменец и произвести в дьячки. И как же носы поопускали, когда узнали об этом! Но на все божия воля! И в этом тоже. Если мы не достойны иметь обоих хороших - и батюшку и пиддячого, то будем довольствоваться одним хорошим, зная, что другие не имеют ни одного; а другой пусть ищет себе лучшего места, которого он и стоил.

Уже все было готово к отъезду, как пришло известие, что паны взбунтовались. И давно люди поговаривали, что ляхи недоброе замышляют; но не верилось, чтобы они и в самом деле поднялись против билого царя.¹⁰ А вышло, что люди не ошибались, потому что паны действительно взбунтовались. С дня на день слухи становятся все хуже и хуже. Слышим, наконец, что они командами ездят по селам и хватают парубков. Вот и начали мы прятаться на ночь по бурьянам, как во время татарских набегов. И страху натерпишься, бывало, пока управишься в хозяйстве! Спесишь, все из рук валится, а чуть собака брехнет, то так и бросишься к окну: не ляхи ли идут. Господи, воля твоя и твое попущение! Я тогда еще в девках гуляла; хороша была, то за меня родители боялись хуже, чем за брата. Брат мог уйти из войска, а я пропала бы навеки. Они, видите ли, и молодежи не спускали, а дивчат искали усерднее, нежели самих парубков. Знать, им не войско было в голове, а иное что-то.

- *Майтесь на осторожності!* - советовал нам батюшка, этот самый покойник. Мы слушали его и береглись, прятались; бере-

10 - ...паны взбунтовались... поднялись против билого царя...- Очевидно, йдеться про польське визвольне повстання 1830-1831 рр. (Листопадове повстання) проти російського царизму. А. Свидницький, живучи на Поділлі, яке не так давно перейшло з-під влади Речі Посполитої до царської Росії, ще в дитинстві відчув неприязнь місцевої польської шляхти до національних почуттів українців. Тому в повстаннях поляків він бачив мету відродити державу в межах колишньої історичної Польщі і з цих міркувань не міг зрозуміти загальнореволюційного змісту цього руху.

глись и потому, что боялись. Но все-таки меньше боялись, видя, что турчин не прячется: беда, значит, еще далеко, а когда приблизится, то турчин также скроется. Вот тогда-то настала страшная пора! Из того самого села я вышла замуж, а потому и знаю все, как было.

Село наше над Бугом лежит, а за рекой большой лес тянется вверх и вниз, бог весть, как далеко. Против воды, в нескольких верстах от села, есть заросль на болоте, называемая Волчий Луг. Там и в самом деле волки выводились, и никто не смел подойти сюда даже днем, так зверей боялись. Здесь-то и батюшка посоветовал спрятаться одному семейству, к которому присоединил и своего турчина. Кажись, все обеспечивало скрывающихся: общий страх волков, кругом глушь, ближайшая дорога за лесом; к самому же лугу и тропинки не было, а новой и не старались пролагать к Бугу, к самой трясине, а там пробирались по корням до убежища. Сам батюшка устроил висячее жилище, до которого волкам было высоко, а люди дороги не знали. И почивали здесь добрые люди, вдали от всех и в полной уверенности в безопасности своей.

«Но від біди не втекти». В последнюю ночь забыли запастись водой. Как нарочно, наименьшее дитя потребовало пить и подняло крик. Крик и в безопасном месте грозит опасностью, а потому зажали рот дитяти. Турчин был добрая душа, сжалился над ребенком и вызвался сходить по воду к реке, чего не сделал отец родной - не тому, значит, на беду шло, кто остался на месте. Ночь была лунная, к Бугу можно было пробраться под тенью, кругом ничего не слышно, кроме волчьего воя; так чего бояться?

Еще турчин шел к берегу, когда на реке внизу видно было несколько точек, но он не обратил на них должного внимания и попался в беду. То ехали несколько челноков, в каждом из которых было по ляху. Поздно турчин заметил это, а потому хотя и спрятался в тени, но был найден панками, которые издали заметили его белую кружку, блестящую от луны. Вот и связали несчастного и поскорее уплыли, боясь погони. Им казалось, что за ними погонятся из Волчьего Луга; но опасность была не с той стороны.

В ту же ночь батюшка узнал о случившемся и, взявши с собою верных человек пять, отправился с ними на челнах выручать своего питомца. Кто мог уснуть, тот до рассвета выспался,- так рано они уехали. С ужасом громада толковала о происшествии и с трепетом ожидали возвращения панотца. Несколько дней прошло в страшной тревоге. Все просили совета, а советующего не было, все спрашивали - и никто не отвечал. Утром была тревога, вечером страх; после ночи начался ужас, возраставший целый день, так что на следующий вечер не видно было ни одного румяного лица. Хотели послать гонца, но не знали куда, и никто не хотел один ехать, чтоб не пропасть без вести. Еще прошел день, и в селе говор уже не умолкал и никакого порядка не было, как *взматку*.¹¹ Если бы такое состояние продолжалось далее, то вся громада разбрелась бы. А чего боялись? Сами того не знали.

Наконец, батюшка возвратился вместе со всеми и привез своего турчина, только не на радость себе: ляхи так искололи несчастного, что он возвратился только для того, чтобы умереть. Люди рассказывали, что, выследивши ляхов на ночлеге, батюшка велел своим окружить их издали, а сам сошел на берег; ляхи ночевали под лесом в челноках. Так и сделали. Прошло времени столько, как пообедать, когда в лесу раздался вой волка, а потом человеческие голоса. Ну, вот, так точнехонько, как будто перекликаются. Потом, сразу, как затрещит, как загудит! Наши знали, что все это будет, да и то страшно им стало, а ляхи, ничего не зная, перепугались до смерти, так что стали крутиться на одном месте. Один с другим сталкиваются, стучат веслами, кричат езуса и сами не знают, что делают.

- Сюда наши! - скомандовал батюшка.

И наши помчались на ляхов. Я не знаю, кто их топил, но спасся только один, который караулил турчина на берегу, а потому не попал на челн. Этот-то и исколол несчастного парня, без сомнения, для того, чтобы он не указал дороги; но *спереполоху шпигав та й шпигав* и никак не попал в сердце. А какие богатые ружья привезли наши с собою! Батюшка только ничего не взял, кроме своего турчина да беды. Тот лях, который спасся, оговорил

11 - Пчелы, потерявшие матку.

батюшку перед судом, когда попался в руки, и хотя через это не спасся от виселицы, однако наделал другому много хлопот. Одиному то ничего, а что было бы, если бы батюшка имел жену и детей и остался без прихода? А покойник с той самой поры и до смерти был за штатом. Его, видите, обвинили за передержание беспачпортного, того самого турчина, которого солдаты покинули. Таков-то был покойник! - заключила рассказчица.

- Царство йому небесне! - сказали слушательницы, крестясь. А одна спросила: - А турчин пособлял? Я думаю, пособлял?

- Турчин был связан и ничем пособить не мог,- ответила рассказчица.

- А что это были за люди, что перекликались в лесу, когда волк выл?

- И это все, и вой, и то, что гула, и то, что трещало,- все это делал один батюшка, научившись в Сечи.

- Ага? - догадалась спрашивавшая,- царство йому небесне!

III

Староста никого не видел, ничего не слышал. Он сидел возле покойника, причитая: «А ти як-то хвалився, що мене переживеш, що поховаєш мене, та ще й гоцьки утнеш! Ти ж то хвалився, ти ж величався! Тепер же пішов, а я тут zostався! Чому ж не почекав, чом не дождався? Чом не сподобив мене господь бог, щоб ти мені *безличну* заспівав, як хвалився єси? А я тобі вічну буду співати, і внукам накажу господа благати за твою душу».

Причитал староста и плакал, как дитя. Когда выплакал все слезы, то в изнеможении уснул, сидя на своем месте. Он спал еще, когда собрались служить панихиду. Один молодой господин, часто бывавший в гостях у татуни и теперь прибывший к нему на погребение, вздумал пошутить над спавшим. Он прекрасно копировал каждого до мельчайших подробностей и в своих шутках не стеснялся ни местом, ни предметом. И теперь, присевши возле покойника по другую сторону от старосты, он протянул руку через лежавшего и, сквозь покрывало схвативши старо-

сту за бороду, крикнул, подделавшись под голос татуни: - І по смерті, псе старий, покою не даєш!

- Іще ж бо! - сказал староста, вздрогнувши и смотря покойнику в лицо.

Когда шалун медленно освободил бороду, испуганный старик удалился. И к утру в селе было два покойника, которых если не положили в одном гробе, то, по крайней мере, одновременно похоронили. То были татуня и староста. Упокой, господи, души их!

Давно померли эти два старика, но память о них еще долго будет жить в народе...

НЕРАЗГАДАННЫЙ ПРЕСТУПНИК

За несколько лет пред Восточной войной¹² в Подольской губернии прошел слух о появлении нового Кармалюка. Сперва говорили и не договаривали, верили и не доверяли; но вскоре не проходило недели без обстоятельных рассказов о его новых подвигах, которым все удивлялись и которым не было числа, как не предвиделось конца. Будто в сказке, он вдруг являлся там, где и не думали видеть его,- являлся то стариком, то молодым, то панком, то чиновником, то ксендзом, то рассыльным и т. д. Явится, ограбит и исчезнет. И часто в ту же ночь произведет другой грабеж верст за сто и далее. Но бывало и иначе. Бывало, чуть сделается известным, что полиция, произведя в подозреваемой местности обыск, уедет, огорченная безуспешностью, как тут же снова ограблен пан, и она возвращается, дыша пылью, которая не успела улечься от ее прежней поездки тою же дорогою. Затем, едва начнется производство дознания, как прилетает известие, часто писанное самим грабителем, что он уже грабит за тридцать сел. И это окажется справедливым, несмотря на то что почти одновременно иногда случался грабеж и в самом ближайшем соседстве.

- Нет же у нас ковра-самолета, чтоб поспевать за ним всюду! - скажет полиция и уедет на обывательских. И в самом деле, новый Кармалюк будто летал: так быстро и переносился он из одной местности в другую, потом снова возвращался, чтобы ограбить еще кого и явиться затем еще где-либо в отдалении, куда, казалось, нельзя добраться и за несколько недель, а он как с неба падал.

Переполюбили жителя, приуныла полиция, и лучшее, что она вместе с панами могла выдумать, было стеснение проезжих. Всюду на въездах и выездах поставили варту, нельзя было ни

12 - ...пред Восточной войной...- Йдеться про війну 1853-1856 рр., у якій царська Росія воювала проти коаліції держав (Англія, Франція, Туреччина і Сардинське Королівство) за зміцнення позицій на Близькому Сході і в якій зазнала поразки.

пройти, ни проехать, не предъявивши экономии своего вида и не получивши от нее значка на свободный пропуск. Но и это не пособляло. Напротив, часто случалось, что варта задержит проезжих в воротах и ждет значка, а тем временем пана грабит тот самый, кто пошел предъявить вид. Но мало-помалу определилось направление деятельности грабителя, и - сначала общая - тревога осталась на долю одних помещиков, потому что только они подвергались грабежу, остальное же население терпело разве от варты, которая задерживала всех днем и ночью, не различая ни пола, ни возраста. Как долго продолжалось все это, сказать не умеем. Но вот прошел слух, что грабитель пойман, потом, что поймана только часть его шайки, сам же он с остальными товарищами ушел за границу. Наконец, кажется в 1855 году, в Каменце уже предлагали двести рублей за труд тому, кто составит выписку из дела о произведенных грабежах.

Этот новый Кармалюк, как его величали, был католик Рахальский,¹³ родом шляхтич, служивший по разным экономиям в различных должностях и, наконец, бывший эконоом. Рассказывали, что пана Рахальского вывела в грабители грубость помещика, у которого он служил в последнее время. Уверяли, будто во время последней диспозиции он дал Рахальскому пощечину и этим вызвал его на месть целому сословию. Так или иначе, но Рахальский собрал шайку и занялся грабежом - не по дорогам, а приезжая к пану на дом. Сначала он являлся лично, всегда один, всегда предупреждал о времени своего прибытия и непременно перерядившись. Вскоре, однако, переменил образ действия. Вместо того, чтобы являться самому, он обращался к пану письменно, назначая сумму, какую тот должен был дать, и место, куда она должна быть доставлена к назначенному сроку. Лично же являлся только для наказания и уже с компаниею. В таком случае грабеж не ограничивался первоначально требуемою суммою, а иногда простирался до того, что по уходе гостей у хозяина не оставалось ничего, даже подушек, за исключением икон и священных книг и изображений, чего Рахальский никогда не тро-

13 - Его называли: Рохальский, Рефальский, Руфальский и т. д. Нами принята фамилия, наиболее употребляемая.

гал. Так по крайней мере рассказывали. Не все, однако, помещики с одинаковой аккуратностью исполняли его требования; напротив, хотя и очень редко, бывали примеры - вольные или невольные, это не наше дело - ослушания, даже с покушением выдать преступника полиции. Так, между прочим, поступил один помещик, иногда называемый графом. Получивши от Рахальского письмо с требованием большой суммы, которую к определенному сроку должно было закопать под крестом на поле, возле корчмы, верстах в пятнадцати от села, он донес обо всем полиции. Исправник посоветовал закопать что-либо на указанном месте как приманку, а сам с понатыми засел в корчме, переодевшись. Вот и срок не только наступил, но даже миновал, а подозрительного ничего не замечено. Скучал исправник и до наступления срока, а после - тем более. Оказалось, впрочем, одно развлечение. Еще до приезда исправника остановился в корчме какой-то проезжий господин, назвавшийся помещиком, и тоже скучал, не имея возможности продолжать путь, так как у него изломалось колесо в экипаже. Поневоле сблизились скучавшие и занялись картами - один, ожидая Рахальского, другой - колеса, которое отправил для починки в город. Сначала проигрывал исправник, потом начал проигрывать проезжий. К концу исправник выиграл до тысячи рублей. Проигравший, обеспечивши долг своими людьми, лошадьми и экипажем, отправился на несколько часов в город верхом. Шла ли игра и по возвращении его, легенда не говорит; только исправник отправился домой с полными карманами, радуясь, что хотя и не видел Рахальского, зато поймал кучу целкачей.

- Последнюю копейку проиграл! - упрекнула его жена при первой встрече.

- Бог с тобою! - успокаивал ее исправник.- Напротив, я выиграл. И вот тебе деньги.

- Как же ты спасся?

- От чего или от кого?

- От Рахальского.

- Я и в глаза его не видал.

- С кем же ты играл?

- С каким-то помещиком.
- А писал, что с Рахальским играешь!
- И не думал писать.
- Где же наша шкатулка?
- Я никакой шкатулки не брал с собой.
- Не понимаю,- сказала исправничиха с досадой и показала мужу письмо.- Смотри. Твоя печать? - спросила она.
- Моя,- ответил исправник.
- И твоя рука?
- Моя.
- Читай.

Исправник начал читать. Письмо было такого содержания, будто исправник, попавший в ловушку, устроенную Рахальским, должен был играть с ним в карты и проигрался до ниточки. Чтоб не быть убиту, он просил жену прислать через подателя все деньги, сколько было сбережено за всю службу, причем сказал, сколько именно их есть и где хранятся.

Получивши такое письмо, исправничиха отдала подателю его все деньги со шкатулкою. Другого средства она не нашла для спасения мужа, потому что не было указано место, где происходила игра.

Продолжение начатого разговора легко себе представить; прибавим только, что проезжий был сам Рахальский, который и написал письмо к исправничихе и сам вручил его. Таким образом, посредством подлога ограбивши исправника днем, он ночью, явившись с шайкою, наказал пана, отнявши все деньги и все серебро.

Может быть, приведенный случай и неверно передавался, может быть, его и совсем не было; но в свое время никто не сомневался в справедливости его, и Рахальский преисправно получал деньги от панов, имея надобность являться лично только в очень редких случаях. И никакой защиты от него не было, разве сам не считал нужным потребовать денег. Если же требование было получено, то исполнение его было неизбежным, несмотря ни на какие меры предосторожности. Один помещик, например, получивши письмо Рахальского, собрал несколько крестьян с ко-

сами, кольями и т. п. и окружил ими свой дом. Для большей безопасности по целым ночам горели костры, так что и мышь не могла пройти незамеченною. Казалось, не было никакой опасности, тем более что за несколько часов до означенного Рахальским срока прибыла сюда и команда жандармов с капитаном во главе. Капитан тотчас же распорядился очень благоразумно.

- Вы,- сказал он пану,- не прочь поймать Рахальского, а между тем разложили костры, будто нарочно, чтоб он поберегся. Прикажите потушить огонь и распустите крестьян. Я расставляю свою команду.

Помещик рассыпался в выражениях благодарности и с большим усердием исполнил волю начальника жандармов. Тогда разговорились, и не было конца рассказам про Рахальского. Капитан удивлялся, хохотал или огорчался, а время шло, и условленный час приближался. Наконец, он настал. Тогда капитан сказал:

- Вот вам еще один случай из жизни Рахальского. Завтра передадите его, кому захотите, а сегодня пожалуйста деньги. К услугам вашим сам Рахальский - это я.

- А, пане коханий! - воскликнул ловкий помещик и бросился целовать Рахальского.- Для чего же пан так долго обманывал меня и мучил себя ожиданием? Давно было открыться, и я давно отдал бы долг.

Немедленно деньги были отсчитаны, и Рахальский отправился в путь, а помещик в спальню - если не оба довольные, то не оба и спокойные.

Так всегда удавалось Рахальскому, и тщетны были все поиски полиции и все попытки панов спастись от грабежа. Может быть, потому что крестьяне были на его стороне? Что это могло быть и не выходит из ряда обыкновенных поступков крестьян прошлого времени, тому нетрудно найти доказательства. Так они вели себя в отношении к Кармалюку (в Под[ольской] губернии), в отношении к Вусатому (в Херс[онской] и Екатеринос[лавской]), к Тараненке (в Киевской), к Олиму (в Крыму). Поддерживать Рахальского, как поддерживали этих, они могли быть склонны, потому что и он выдавал себя за сторонника крестьян и за кару божью на панов. Впрочем, доказывал это не слишком

гуманными доводами. Так, рассказывали, что однажды, будучи остановлен вартою, он спросил одного из двух вартовников:

- Чего вам надо?

- Та видите ли, милостивый пан,- ответил спрошенный,- черт распорав якимсь Рахальским. Его носит по чужим теплым палатам, а нам стой да мерзни. Хоть бы панщину выписали, так нет! Ночь стой здесь, а день придет - ступай на панщину!

Неудовольствие крестьянина понятно, однако Рахальский, не возражая говорившему, обратился к другому с вопросом:

- А ты что скажешь про Рахальского?

- А бог його знає, що мені казати. Может быть, он, как и говорят люди, в самом деле послан богом, чтоб наши паны немножко присмирели.

- Действительно так, человеце добрый, так! - заметил Рахальский.- Прежде был послан богом Кармалюк, а теперь послан для того же Рахальский. Тот и другой - божье отмщение за ваши обиды.

Кончивши, Рахальский дал этому червонец, а тому велел обрезать уши и в таком виде отправил к пану с уведомлением, что Рахальский в селе.

Кармалюк не поступал таким образом с крестьянами. Хотя он и снимал панам *рукавички і панчішки*,¹⁴ чего не делал Рахальский, однако не изувечил и той старухи-крестьянки, которая учила палача, как его бить. Между тем он очень многих обогатил, а Рахальский - никого. Сверх всего, Рахальский отличался от Кармалюка и своею любовью к нагаю. Так, рассказывали, что он высек одного магната в лесу за неимением при себе денег.

- Ты,- сказал Рахальский,- едешь шестернею с кучером, лакеем и форейтором и не имеешь при себе и двадцати злотых на сутки! Хлопцы!

Явились хлопцы, разложили пана на мураве и отсчитали - полсотни *бізунów*.¹⁵

Подобным образом он поступил и с крестьянином, как гово-

14 - ...снимал панам рукавички і панчішки...- тобто здирав шкіру з рук і ніг.

15 - Різок (польськ.).- Ред.

рили, жителем того же села, в котором Рахальский служил экономом. Рассказывали, что Рахальский встретил его с бычком на дороге в местечко.

- Куда идешь?

- На ярмарок, пане!

- Последнего бычка ведешь продавать?

- Что же делать? Дочку замуж выдаю.

Рахальский дал ему столько денег, сколько можно было выручить от продажи бычка, и велел возвратиться домой. Через неделю они опять встретились. Крестьянин и теперь вел бычка на продажу. Рахальский и другой раз заплатил, но при этом погрозился, что если встретит еще раз, то высечет и отнимет бычка.

Крестьянину, видно, был непригоден бычок, и Рахальский попал их обоих на дороге в местечко. Тогда высек хозяина, а бычка увел в лес.

Не забыл пан Рахальский и православного духовенства. Впрочем, нам удалось слышать только один рассказ в этом отношении. Рахальский действительно сделал добро одной вдовой попадье. Место не позволяет распространиться, и потому вкратке скажем, что один помещик, не из близких соседей, занял у священника семьсот рублей и умер, не расплатившись. Вскоре умер и священник. Первый оставил своей одинокой вдове огромное имение, второй своей - пятерых детей и ни клочка земли. Известно, что наше духовенство живет не в собственных домах, что по смерти мужа вдова должна очистить квартиру для его преемника. Так случилось и с этой. Будучи обязана выйти из общественного дома, она прежде всего поехала к жене должника за деньгами. Но эта не только отказала, а даже велела вытолкнуть несчастную. Возвратилась обиженная на постоялый двор, где остановилась, и в слезах передает содержательнице все случившееся. Соседнюю комнату занимал Рахальский, сказавшись чьим-то адвокатом. Вмешавшись в разговор и выслушавши всю правду, он отдал попадье весь капитал с процентами, а потом ограбил ее должницу до того, что даже подушки пораспарывал. К барыне он явился под именем поверенного попадьи и прибег к насилию не прежде, и как получивши троекратный отказ.

Евреев и вообще купцов Рахальский не трогал.

В заключение скажем, что мнение русского населения нашего края о Рахальском менялось три раза. Сначала представляли его просто грабителем, потом защитником угнетенных, наконец прошел слух, вместе с которым замерла и молва о Рахальском, слух, принятый всеми почти за последнее слово о его значении. Еще не прекратилась деятельность Рахальского, когда начали поговаривать о войне, шепотом говорили,- забунтуют и поляки и что Рахальский назначен панами собирать складчину с целью образовать кассу для восстания. Последнее мнение быстро распространилось, и Рахальский, как бы в доказательство его справедливости, исчез. Явившийся на его место самозванец, как говорили евреи, вскоре был пойман. Таким образом, все непонятное в удачах Рахальского и неудачах полиции делается ясным само по себе. Непонятно только, почему он не играл никакой роли в последнем восстании. Или он умер раньше, или действовал под чужою фамилиею, или же, наконец, верно народное мнение, что собранные им деньги поступили в французский *скарб*?

Не имея, кроме народной молвы, никаких данных для составления своего личного мнения о Рахальском, мы не произносим и нашего о нем суждения.

ПАЧКОВОЗЫ

(Подольская быль)

I

Контрабанда - опасный, но прибыльный промысел. На пограничье занимались ею все сословия, и без преувеличения можно сказать, что там не было, а может быть, и нет лица, которое бы не имело прямого или косвенного участия в ней. Котомка богомолки и солдатский кивер, экипаж магната и сума нищего соперничали в передвижении контрабанды. Частные дома и публичные здания, корчмы и костелы, синагоги и кляшторы служили складочными местами, а Киев, Полтава, Харьков, Нежин, Кролевец и тому подобные конкурировали в сбыте. Разумеется, Бердичев заправлял всем. *Нежинские греки*¹⁶ и немецкие колонисты Новороссийского края,¹⁷ придорожный корчмарь и хмельникский *арцерабин*, заведомо или без ведома, были контрабандистами. Для контрабанды, случалось, беспокоили в погребках под костелами прах усопших и при дорогах кресты и статуи. В крайних случаях прибегали к надгробным памятникам, из которых еврейские более других пригодны, В Баре s[wiety] Niepomuscyn¹⁸ в камыше, в Браилове p[an] Jezus,¹⁹ в каплице, возле Тульчина, Хороше²⁰ в яру, у Каменца «Райська Брама»²¹ над скалою - на одну

16 - Привилегированные поселенцы.

17 - Новороссийский край - назва Південної України і частково Південної Росії у другій половині XVIII - на початку XX ст. Пов'язана із утворенням 1764 р. Новоросійської губернії.

18 - Святий Непомуцин (польськ).- Ред.

19 - Ісус Христос (польськ.).- Ред.

20 - Сад графа Мечислава (Михайла) Потоцького.

21 - В нескольких верстах от предместья «Польских Фольварков» сад, оставшийся от времен турецкого владычества.

и ту же ногу хромали.

«Деньги всему причиною»,- рассудят евреи, хозяева контрабанды. Говорим - хозяева, потому что есть и наймиты. Последние и составляют именно то, что подоляне зовут пачковозами,²² то есть контрабандистами в собственном смысле. Их сразу видно по бойкой манере, особенно в седле. На лошади пачковоз в своего стихии, как монгол. К какому бы сословию ни принадлежал пачковоз - был ли мещанин-еврей, или крепостной мазур,²³ или обыкновенный крестьянин и т. д., но все они так резко выделялись из массы, что и дитя не могло ошибиться в названии их промысла. Известны семейства, возившие контрабанду по наследству. Из них вольные люди встречались и в Балтском уезде, а крепостные жили исключительно у самой границы. В числе последних в свое время отличались два лица: отец лет сорока пяти, и сын, молодой парень, еще не брившийся. Их знала и пограничная стража, и местная полиция, и вся и окрестность; но кто хотел, тот не мог ни поймать их с пачками, ни уличить, а остальные не только не выдавали, но даже укрывали. Они были крепостные одного поляка, австрийского подданного, который жил в Галиции, и когда вдруг исчезали, то говорилось, что отправлялись на панщину, а когда так же нечаянно появлялись, то это значило, что с панщины возвращались.

Друзей у них не было, а были почитатели и поклонники; врагов тоже не было, но были завистники и покорнейшие слуги. Отец недолго любил сына за упрямство, но баловал его как единственное дитя, оставшееся в живых.

- Будеш сі каятися,- говорили соседи.

- Іден Юда не каявся,- отвечал пачковоз,- а що мі до того, що син не варт мої ласки? Він мій, і баста: ліпше своя гадина, як чужа дядина.

22 - Пачка зн[ачит] собственно тюк.

23 - Малороссиянин католич[еского] вероисповедания. Их довольно в Под[ольской] губернии, но ближе к границе с Австрией. Кроме вероисповедания, они ничем не отличаются от остальных местных крестьян.

II

Из одной поездки отец и сын привезли по два тюка чаю, так называемого бродского.²⁴ Это тот самый чай, который доставляется в Киев из Почаева²⁵ богомолками, отчего и зовется здесь почаяевским. За Днепрам он известен под именем австрийского, а сами пачковозы разжаловали его в овес. Несколько лет тому назад больше двух четвертей такого овса евреи сложили у одного священника в Остерском уезде.²⁶ Как это случилось и чем кончилось, расскажем в другой раз, а теперь перенесемся на берега Збруча, в то село, где отец и сын сложили свой овес у себя в клуне. Еще дымился пот на их лошадях, когда село было оцеплено казаками, которые обыскивали всех по порядку, начиная с краев села.

- Зле, тату,- говорит сын.

- Не без ба, та ба! - заметил отец.- Будемо тік вливати.

И забравши коновки,²⁷ оба принялись за дело.

От усадьбы до Збруча было недалеко, пачковозы и сами управились бы, но по поспешности, с которою они ходили с коновками то от реки на ток, то с тока до реки, соседи догадались, что не все в порядке, и пришли на помощь. Издали казаки видели, что люди воду носят, но им не встала на ум хитрость пачковозов. Потому, когда сыщики добрались сюда, все было улажено: ток слит, и от овса не осталось и следа. Казаки с тем и уехали, что обыскиали село, а чай поплыл за водою, потому что пачковозы ухитрились пустить его по реке. Под предлогом поливанья тока они носили чай коновками и, черпая воду, высыпали его.

24 - ...чаю, так называемого бродского...- тобто доставленого із містечка Броди на кордоні між Австро-Угорщиною і царською Росією (нині райцентр Львівської області).

25 - Почаїв - містечко, широко відоме своїми церквами (нині Кременецького району Тернопільської області).

26 - ...в Остерском уезде.- Цей округ входив до складу Чернігівської губернії (нині Остер - місто Козелецького району Чернігівської області).

27 - Посуда, служащая вместо ведер, которых там нет.

- Шкода! - сказал сын по удалении казаков.

- Не без ба, та ба,- ответил отец,- як сі вправимо, то поправимо. Як там коні?

- Нічого.

- То й добре.

Тот же день склонялся к вечеру, когда сын шел в клуню с меркою.

- Та чистого, не оброку,²⁸ приказал отец,- та борше.²⁹

Сын вынес мерку чистого овса и всыпал лошадям. Это и значило, что предстоит дальний путь.

III

Смеркалось. В печи огонь горел и жарилась курица, на пороге сидел отец и курил пипку,³⁰ на дворе хмарилось, и в Галиции гром гремел.

- А не шкода замаху? - спросил сын, пришедши с конюшни.

- Байдуже,- ответил отец.

Темных ночей пачковозы не любят. Кажется, это странно, а на самом деле здесь нет ничего странного. Темная ночь хороша для вора, которому надо скрываться от всех, а пачковоз имеет специальных преследователей в пограничной страже. Казаки же не имеют постоянного места, как дворник, а потому казака можно встретить везде. В темную ночь на него можно наткнуться там, где и не думаешь. Поэтому для пачковоза важнее всего заметить казака. В этом отношении лунная ночь, по-видимому, очень выгодна; но пачковозы предпочитают ночи безлунные, звездные,

28 - Оброком (обрік) называют овес, перемешанный с пшеничною половою или с сечкою, в каком виде дают его лошадям. Отсюда в Подольской губернии перед освобождением крестьян, которое они называли оброками, между крепостными пессимистами был в ходу каламбур: не буде оброку, доки не буде січки.

29 - Борше - скорее, т. е. борже, от барзо, борзый.

30 - Трубка с коротеньким чубуком. Ее называют также носогрийка.

потому что боятся тени. Известно, что тень при луне заметнее самого предмета. И этого достаточно для того, кто не желает быть замеченным; но у пачковозов есть другая тому причина. Им приходится иногда скрываться в кустах, за деревом, под скалою и т. п. Человек может не шевелиться, сознавая опасность; конь приучен стоять, не топая, не фыркая: не приучены комары. Они кусаются, и самый лучший конь не утерпит, чтобы не отмахнуться хвостом. В этом случае тень - опаснейший враг. И опытный пачковоз скорее поедет среди бела дня, нежели в лунную ночь. Мелкая же контрабанда обыкновенно и переходит через границу только днем. Ею занимаются исключительно нищие. Они смело бредут за границу и обратно, и не было примера, чтобы хоть один когда-либо попался. Наша стража в полдень не смотрит, а австрийская, которую пачковозы называют *жандармарія*, пропустит за папушу простой махорки. А за двадцать-тридцать папуш она уступала свои ружья.

Сырая погода вообще, а тем более дождь, грязь, снег особенно ненавистны пачковозам, потому что дают след. В дождь, например, пачковоз сидит дома или там, где будет застигнут, если нельзя сложить пачки в надежном месте до более благоприятного времени. Оттого сын и выразил свое сомнение насчет поездки. Но, успокоенный отцом, он сел на завалине и начал любоваться сверканием молнии.

- Тату! - начал он.

- Ну?

- За хмарою ніби хто вогню креше: чик-чик; чик-чик-чик.

- Може, поліз би-сь та запалив губку?

Сконфуженный таким ответом отца, сын почесал затылок и отправился в конюшню. Он попал кстати, потому что вор, разобравши с улицы стену, уже отвязывал коней.

- Злодій! - закричал парень.- Сюди, тату!

Через несколько минут в хате дрожал еврей со скрученными за спиной руками, а возле конюшни собрался целый шарварок.

IV

- А, принесло ж ты все зле та недобре! - ругался отец на вора.- Коби тисяча дідьків у твою єврейську голову! Озьму та й завісю, як пса... псявіро ти, псявіро!

Вор молчал.

- Дай, сину, мотузку.³¹

Вор продолжал молчать.

- Сала йому, тату,- сказал сын.

- Давай сала.

- Нащо сала? - начал еврей.- Я й без сала не голоден.

То насмешки, то угрозы, то хладнокровная беседа развязали еврею язык. Вор начал выпрашиваться, оправдываясь крайнею нуждою и неумением заняться черною работою. Подробно описал он свое безвыходное положение в крайней нужде, со слепым отцом, с больною женой, с дробными детками. Длиннен и грустен был его рассказ. Пачковозы выслушали и сжалились.

- Иди с богом,- сказал отец,- только не кради, потому что в другой раз так легко не отделаешься.

На бедность дали вору несколько рублей. Поблагодарил еврей, поклялся не красть и отправился своею дорогою, и пачковозы же принялись седлать лошадей.

Не прошло недели после этого, как тот же еврей снова попался тем же лицам в их конюшне, и еще не светало, как отец и сын были с ним в полиции. Сдавши вора под расписку, они отправились домой. Как ни сказочно сложились обстоятельства, но верно, что пачковозы еще трижды ловили того же вора у себя в конюшне и каждый раз сдавали и его в полицию, получая расписки, а поймавши в четвертый раз, порешили избавиться собственным судом. «Бог видит, что мы обращались к властям,- рассуждал отец,- а коли закон не берет, не наша вина. Не жертвовать же нам своим добром и спокойствием из-за того, что полиция с ворами делится. Отдадим его ракам».

Вор слушал разговор и стал проситься. Но, несмотря на прось-

31 - Мотузок - веревка.

бы и заклинанья, пачковозы завязали ему рот и связанного повезли к Збручу топить. Отъехавши несколько верст от села, положили вора на крутом берегу, и, пока сын искал пригодных камней, отец, приготавливая веревки, сказал еврею:

- Любуйся на небо в последний раз.

Небо было чисто и усеяно густо звездами. Вот одна из них покатилась по небу и сгасла.

- Это твоя,- сказал пачковоз-отец еврею, привязывая и ему камень к шее в то время, когда сын привязывал другой к ногам. Когда все было готово, развязали еврею рот, и отец сказал: - Если имеешь сказать что-либо жене, деткам, говори смело: я по совести передам твое завещание.

- Вот что я скажу,- начал еврей.- При мне есть двести рублей. Возьмите их и отпустите меня.

Пачковозы взяли деньги, и старший сказал:

- Я думал, что ты вор по необходимости, по бедности, как ты говорил. Я думал: бедный человек, к тяжелой работе не привыкший, хоть и принялся воровать, то бог с ним. Не пропадать же в самом деле с голоду, когда крамницей нельзя обзавестись. Я так думал и хотел настращать тебя, что утопим. Теперь же не миновать тебе смерти, потому что, как я вижу, ты вор по ремеслу: ты крадешь так, как другой пьет, торгует. Имея двести рублей, ты мог бы жить честно, без воровства,- мог бы устроить лавочку или открыть шинок и зарабатывать, как другие. Но ты этого не сделал, так уже ничего не сделаешь, разве вздохнешь к господу богу, чтобы он принял твою нечистую душу. Кайся же!.. Гайда, сыну! - кончил он, обратившись к сыну. И сын взял еврея за ноги, а отец за голову и, размахавши, бросили в воду. Он только вскрикнул, а потом забулькало.

- Там тобі й амінь,- сказал старший пачковоз,- больше не будешь красть.

На следующий день сын пристал к отцу:

- Дайте мне те деньги, что мы у вора взяли, пойду прогуляю.

- Рубль дам,- говорит отец.

- Все дайте.

- Дурак ты, май сыночек,- сказал отец,- ты у меня один, и все

мое - твое. Когда умру, тогда гуляй сколько душе угодно; а пока я еще жив, то тебе зась до моего добра. Ни копеечки не дам, коли ты не хотел принять рубль.

- Не хотите по доброй воле, так отдадите по неволе. Я донесу, что мы еврея утопили.

Верил ли отец угрозам сына, или не верил, то его дело, только денег не дал. Сын сдержал слово - и отца посадили в Каменце в крепость.

Не диковинка пачковоз в каменецкой крепости, и самая крепость эта не диковина для пачковозов. Пачковоз тогда только и спокоен, когда в крепости. Ни звездная ночь его не соблазняет, ни непогода не тревожит; а с поличными не пойман, так и тузить нечего. Жизнь в крепости только изощряет их способности, и по выходе на свободу даже простак пачковозы становятся артистами как в своем ремесле, так и в ответах перед судом. Не опасаясь преувеличения, можно сказать, что кто не осужден по первому разу, тот никогда не будет осужден. Пачковоз же отец, попавший в крепость по обвинению в убийстве еврея, сидел в ней уже не раз и издавна был артистом и в том и в другом. Оттого шел он в крепость, как в свою клуню, и был встречен узниками, как давний знакомый.

- На долго ль, товарищ? - спросили они.

- Денька на два, на три. Словом, до допроса.

- Не будет ли мало?

- Боюсь, не много ли.

В самом деле, он был в заключении недолго: только две ночи переночевал, а третья принадлежала ему. Будучи позван к допросу, он и не думал отказываться от своего преступления; напротив, со всеми подробностями рассказал все как было.

- Жаль мне тебя,- сказал следователь, когда допрос был кончен,- познакомишься с катом.

- Кат не свій брат; невідомо, хто від нього втіче. А ви пожалуйте лучше своего брата, чиновника. Извольте прочесть эту расписку и судите, кто виноват, что еврей утоплен.

С этими словами пачковоз подал следователю расписку чиновника, принявшего в первый раз вора. Следователь знал все и,

принявши расписку, тотчас изорвал ее в мелкие клочки. Смотря на его прояснившуюся физиономию, пачковоз сказал:

- Рвите, рвите; я не в претензии. У меня есть еще три таких. По-моему, лучше будет для всех вас, если вы плюнете на вора и освободите меня. Одним евреем, одним вором на свете меньше, овва! Черт их насеет, будьте спокойны.

Подумал следователь, подумал, посоветовался со своими, и через час почти вся полиция кутила с пачковозом в «Поповской дыре».³²

- Что же делать? - говорила полиция.- Так и быть.

- Иначе и быть не могло,- говорит пачковоз,- хотя бы и должно быть иначе.

V

Село, о котором идет речь, Збручем разделяется на две половины, из которых одна принадлежит Австрии, другая - России, а обе вместе принадлежали одному помещику - заграничному. Как обыкновенно, в цельных имениях помещики не вмешивались в свадьбы, помещик и здесь позволял *сі брати* за границей. Галичане женились у нас, наши в Галиции, и никто этому не препятствовал. Народ же тамошний ничем не отличается от здешнего, от пограничных подолян. Те же обычаи, та же речь, то же шитье на свитках; одинаковый крой, одинаковая стрижка волос. Вера у них униатская, но галичане-русины не знают, что она не православна, и так же исповедываются у подольских священников, как и у своих. А представьте себе ночлежников. Между крутыми, высокими берегами шумит Збруч вглуби, кругом черный лес, подольское небо и тамошняя ночь; вдали собаки лают, а внизу рыба хлюпочется. Верхом ветер веет, но на земле его не видно: огонь горит, как в затишье. Огонь в России, и в Австрии огонь. Паруб-

32 - «Поповская дыра» - Среди городской площади в Каменке стоит около десятка домов, между которыми есть одна продольная и одно поперечная улица. Это и называется «Поповскою дырою». Сюда в былое время отправлялась на кутеж все, искавшие тайны.

ки его разложили, а сами посели на круче и поют одну и ту же казацкую песню - австрияки и русские! И мы слышали эти песни, видели такие картины и не удивляемся, что в Галиции существует *русская* партия.³³ Но, думаем, никто не удивится, что у русина-подолянина разрывается сердце, как разорван его край. Но еще трогательнее объяснение парубка с дивчиною через реку, нередко прерываемое нагайкою донца. Если бы не таможни, то тамошняя граница давно бы подвинулась к западу без борьбы, без кровопролития. Народ слился бы сам собою, как мужчина и женщина в браке. Но существует пограничная стража, и это искусственное деление народа так трогательно... издали не видно и не чувствительно; но посмотрели бы на месте... Если бы эхо умело писать, как свет рисует, то сколько трогательных сцен мы прочитали бы.

Не трогательна ли, например, свадьба, половина которой в неметчине, а другая дома? Через границу здороваются, разговаривают, знакомятся, поют вместе свадебные песни, подают друг дружке голос, но руки не могут подать.

На одной из подобных свадеб жених был особенно грустен. Он ни на кого не смотрел, ни с кем не разговаривал, только поглядывал за Збруч, и то украдкою. Это был известный нам пачковоз-сын. Отец порешил исправить его женитьбою и указал невесту за границей, чтобы не получить гарбуза. Выбор отца нравился сыну, но презрение народа за донос на отца тяготело на парне, и он потому стыдился всех и собственной памяти. Впрочем, скоро все удалось; одно прощено, другое забыто - и жизнь потекла своим чередом.

Обоих этих пачковозов и расписки чиновника можно было видеть еще в 1860 году. Старший тогда уже не занимался контрабандою, а младший еще не имел сына, с которым бы мог делить свои занятия. Впрочем, за границу он ездил не один, а во

33 - ...в Галиции существует русская партия.- Йдеться про відому з 50-х років XIX ст. суспільно-політичну течію на західноукраїнських землях, що об'єднувала частину духовенства і буржуазної інтелігенції і орієнтувалась на реакційні кола царської Росії. «Москвофіли», використовуючи симпатії місцевого населення до Росії, прагнули прищепити йому царєфільські погляди і виступали за об'єднання всіх слов'янських народів під владою російського царя.

главе компании, состоявшей из одного и отставного чиновника, двух шляхтичей и одного поповича. Когда едут, бывало, по городу, то так смотришь и не налюбуеться. И грустно станет от мысли, что сегодня-завтра кого-либо из них, а может быть, и всех может сразить пуля вдогонку.

- Что ж делать,- говорят пачковозы,- так и быть.

КОНОКРАДЫ

Бог создал пана - разумея поляка - из пшеничной муки, еврея из ржаной, а хлопа из глины. Так говорят наши евреи, выражая тем свою близость к панам и превосходство над остальным населением края. Двойной гнет этих двух чуждых здесь элементов до сих пор тяготеет над краем. Но первый, если бывал невыносим, то падает и падет вместе с крепостным правом; второй существует во всем своем безобразии и бог весть, рухнет ли когда. Первый смягчался образованностью, второй усиливается религиозным фанатизмом и замкнутостью. Первый имел основание в законе, с изменением которого лишился опоры, второй опирается на беззаконие или, лучше, на умение обходить закон и падет только тогда, когда еврей сделается русским человеком. Но в настоящее время в массе своей евреи строго берегутся не только слияния с населением края, но даже и сближения. Еврей не ест нашей пищи, нечиста для него наша посуда; мы сами скверны для еврея. И если этот агнец непорочный имеет какие-либо сношения с нами, нечистыми, то только из-за денег.

В настоящее время особенно важны своим вредом два направления их деятельности: давно вкоренившееся конокрадство и начинающее вкореняться арендаторство. Мы не говорим уже о шинкарстве и ростовщичестве, о которых столько раз было говорено.

Чтобы статья не вышла слишком длинна или чтобы не сказать слишком мало, ограничимся па этот раз конокрадством.

Конокрадство - повсеместный недуг нашего края и тем сильнее оно, чем местность гуще населена евреями и ближе к государственной границе. Первое потому, что есть кому красть; второе потому, что есть куда сбыть. К таким местностям принадлежит между прочим наш юго-западный край, который потому и сильно страдает от конокрадства. Но да не подумает кто-либо, что конокрады здесь никому не известны или что они, по крайней мере, стараются быть неизвестными. Напротив, их все знают, и *злодейский атаман*, как называют ватажка конокрадов, лицо по-

четное в крае. Мы лично знавали такого атамана: к нему ездили с поклоном и с гостинцами священники, мещане, крестьяне, шляхта, становые пристава, все, кто держал лошадей, и сами чиновники от конокрадства, т. е. специально занимавшиеся преследованием конокрадства.

Иначе и быть не может, потому что конокрадов все боятся, потому что власть бессильна защищать людей, которых мщение не ограничивается имуществом, но распространяется и на лицо. Нам лично знаком был пристав, который тяжело поплатился за энергические действия против них. Конокрады ухитрились отбить его от команды во время погони, завлечь в лес и там ломом до пня перебили руки и ноги и, для большей своей безопасности, вырезали несчастному язык. Говорят, после этого он жил еще некоторое время. Знавали мы и чиновника от конокрадства, который пострадал еще хуже: его живым изрезали в куски. Первое происшествие случилось в Винницком уезде, второе в Гайсинском. Оттого чиновники от конокрадства и должны были сделаться агентами злодейских атаманов. Они не могли сделать ничего лучшего, как войти в сделку с атаманами и брать для них *переймы* - т. е. плату с хозяина пропавших лошадей за возвращение их. Другой пользы они не могли принести честным людям, но и эту приносили только в том случае, когда попадался таков снисходительный атаман, что позволял чиновнику вмешиваться. И действительно, в большинстве случаев чиновники от конокрадства не имели и этого значения и были, наконец, упразднены, не изменивши положения дел. Упразднение их оказалось выгодным в том отношении, что для обокраденных пал соблазн к жалобам, следовательно, и повод к мести со стороны конокрадов. Хозяева обратились к прежнему порядку вещей и восстановили немного нарушенный обычай ходатайствовать непосредственно перед атаманом. Как при этом обращаются к атаману, видно из приводимого примера.

- Эй-вэй! Яки бо вы, пане господарю! - однажды в нашем присутствии атаман упрекал шляхтича, просившего о возврате лошадей.- Что за разум: знать меня давно и до сих пор не обратиться! Я думал, что вы уже загордили, знать меня не хотите - *що то*

жид! - и не придержал ваших лошадей. А добри булы конята! Аж самому жаль.

- Невже пропали? - жалобно спросил шляхтич.

- До сих пор за Днестром, если не за Прутом,- ответил атаман.

- Ой же?

- Я не виноват. Вы сами виноваты: раньше было обратиться ко мне.

- Я вас награжу, я даром не хочу,- продолжал шляхтич.

- И я даром не хочу,- сказал атаман.- Говорю: за Днестром, если не за Прутом. Ну?

- Я поеду за Днестр.

- Може, й за Прут поехали бысьте? - иронически спросил атаман, смотря в окно.- А то ваши кони? - спросил он далее.

- Мои,- ответил шляхтич.

- То вы, слава богу, не пиши,- начал еврей,- заробыте на луччи, а ти нехай уже идуть другому на корысть.

Шляхтич с тем и удалился. Надо знать, что он был из числа не забывавших атамана, только в последнее время имел неосторожность, идучи через село, в котором жил атаман, остановиться перед чужим, а не перед его шинком.

Бывают и такие случаи, что атаман прямо говорит: «То не мои сделали, мои вашего не тронут». Или же возьмет переймы и благосклонно успокоит просителя: «Отправляйтесь с богом домой, ваши лошади возвратятся». И действительно, после такого ответа лошади окажутся часто даже во дворе хозяина. Иногда, впрочем, надо бывает отправиться в то место, которое укажет атаман в лесу или в яру, и там забрать свою собственность.

- Спасибо и за то,- говорит хозяин отысканных лошадей и рад-радехонек, что атаман взял меньше, нежели сколько лошади стоят.

Не задобрить атамана, а тем более рассердить его - значит рисковать всем своим состоянием. Благо, если позволит держать таких лошадей, о которых говорят: як біжить, то дрижить, як упаде, то й лежить. Оттого никто не осмеливается не только отказать атаману в чем-либо, но все готовы друг перед другом предложить свои услуги. Если же атаман приезжает в село, где его

знают, то для остановок избирает дом своего любимца. Если таковым оказывается не помещик, то он просит хозяина дома пригласить остальных; если же остановится у помещика, то сам отправляется пешком к ближайшему из пользующихся его благорасположением, а остальным передает поклон.

- Вы такой редкий гость у нас; посидите, пожалуйста,- просит ошастливленный визитом.

- Нема часу,- отвечает атаман,- нема часу. Я, знаете, до пана заїхав, треба честь знати, як то приповідують: «Бога не гніви і чорта не дражни». И торопливо отправляется к помещику, но не из уважения к нему - на самом деле пан более угождает атаману, нежели этот последний ему. Таким объяснением атаман дает знать, что, мол, держись: видишь, кто дорожит моим вниманием.

В 1864 году особенно популярны были два атамана - один в г. Умани, другой в м[естечке] Саврани Балтского уезда. В Балтском же уезде разыгралась и следующая история, несколько раньше.

В том самом местечке, где была и становая квартира, жил с несколькими зятьями и несколькими сыновьями известный конокрад, не атаман впрочем. Он так был известен своим промыслом, что становому, который только что был сюда назначен, называли всех членов почтенного семейства по именам в самом Каменце. Становой этот был молодой человек, едва окончивший курс в Киевском университете. Вступивши в должность, он тотчас же позвал к себе воров и говорит им: - Я пригласил вас на два слова. Всем известен ваш промысел. Или остановите его, ила готовьтесь в Сибирь.

- Так далеко?.. За что, ваше б[лагороди]е?

- Знаете вы лучше моего за что. Может быть, вы делились с моими предшественниками, может быть... Я считаю нужным предупредить, что я не из таковых; потому будьте уверены, что приму все меры и доконаю вас.

- Гм, в[аше] б[лагороди]е,- начал глава семейства,- насили я догадался, в чем дело. Вашему предшественнику также клеветали на нас. Он также думал, что мы люди бесчестные. Но мы люди честные, только у нас много врагов - так много, эй-вэй!

Спустя некоторое время привели разбойника в стан. Едва пристав занялся допросом, как пришел конокрад и просит: - Ваше б[лагороди]е, прикажите выдать проводной лист. Я намерен справить тройку лошадей за Днепр.

- Потрудитесь прийти немного позже,- сказал становой.- Видите, я теперь занят.

- Як то занят? Що то занят? То вы занят, бо вы ваше благородие,- а я не занят? Я не знаю никакого «занят». Я человек торговый, мне случается купец. Если я их не продам, то понесу убытки. А кто мне пополнит их?

Становой из писцов скоро отделался бы от нахала. Но евреи имеют возможность вперед знать все, чем интересуются, потому и конокрад знал, что новоприбывший становой обходится без кулаков, и потому дерзко пристававал. Выйдет из комнаты на несколько минут и опять возвращается: «В[аше] б[лагороди]е! А ще занят?»

Ни просьбы, ни угрозы не действовали. Выведенный из терпения становой вынужден был наконец прекратить допрос и велел написать проводной лист. Еврей подошел и письмоводителю и стал диктовать приметы.

- Точно мои лошади,- успокоившись, сказал становой, слушая диктовку.

- Точно ваши, да не ваши,- сказал конокрад.

- Где же лошади? - спросил становой, читая поданный лист.

- Здесь за воротами,- ответил конокрад.

Становой посмотрел в окно. Действительно, за воротами стояла тройка лошадей, из которых пару держал сын просителя, а третью - кучер пристава.

- Не будь там моего кучера,- сказал становой,- я подумал бы, что вы вывели лошадей из моей конюшни.

- Я таки и вывел лошадей из вашей конюшни,- сказал конокрад, смеясь.- Уже и дал поводового кучеру. У вас же только пара, а здесь тройка,- заключил конокрад серьезно.

Становой улыбнулся шутке еврея и подписал лист.

На утро понадобилось становому ехать куда-то по делам службы. Он призывает кучера и велит запрягать лошадей.

- Каких прикажете, в[аше] б[лагородие]? - спрашивает кучер.
- Много их у меня разве, что спрашиваешь?
- Вы же изволили продать лошадей.
- Что?!
- Лошадей-то, в[аше] б[лагороди]е, вчерась изволили продать.
- Кому?
- А тому еврею, что приходил за конским паспортом.

Тогда только объяснилась шутка конокрада. Он нарочно выбрал такое время, когда пристав был занят, и, сказавши кучеру, что пришел покупать лошадей, отправился в канцелярию как проситель. Выходивши на двор, он каждый раз и переговаривался с кучером о достоинствах лошадей и, возвращаясь надоедать становому просьбой, говорил кучеру, что идет кончать торг.

- Ах, мошенник! - воскликнул становой.- Подайте его сюда!

Пришел еврей.

- Что ты сделал, мошенник! - начал становой.
- Ну-у, мошенник! Уже й мошенник? Я никакой не мошенник.
- А лошади мои?
- Ваши лошади? А разве я не говорил, что вывел, их из конюшни? Ну-у? Не говорил?
- Чтобы мне родились лошади, иначе завтра же будешь в Балте.
- В Балте?! Я не раз бывал в Балте; может быть, еще и сегодня буду. У меня там дело есть,- сказал еврей.

- Шутишь ли ты, что ли?

- Боже сохрани, чтобы я позволил себе шутить с в[ашим] б[лагородие]м. Я и не думал шутить. Я говорю чистую правду. А если вы грозите тюрьмою, то я ее не боюсь. В тюрьму впускают в такую широку браму - эй-вэй, а с тюрьмы выпускают в такую вузесеньку дверцю. Только я не буду в тюрьме, потому что я человек честный.

- Честный? А лошади украл? Где мои лошади?

- За Днестром,- сказал конокрад,- я от листа не отступаю. Я не мошенник какой, чтоб писать одно, а делать другое. Я человек честный: куда пишу, туда веду. Написал «за Днестр» и послал за Днестр.

Еще он продолжал говорить, когда в двор вогнали целый та-

бун лошадей.

- Вы так боитесь за свои лошади,- начал тогда конокрад,- «где» да «где»? Здесь в табуне. Извольте выбрать себе на место прежних - те уже не воротятся, далеко - хоть пару, хоть две, да знайте, что я человек честный.

Становой не захотел подвергаться подобным шуткам и счел за лучшее выбрать пару лошадей и убраться подальше от этих честных людей. Не дальше как через месяц он был куда-то переведен, а конокрады до сих пор продолжают свое честное ремесло и, без сомнения, деткам завещают его.

При такой общеизвестности конокрадов, при такой их бесцеремонности, по-видимому, нет ничего легче, чем спровадить этих господ подальше, по заслугам. Между тем в настоящее время никак нельзя сделать этого, потому что ничего нельзя доказать на них. Атаманы лично не ходят красть. Они только принимают краденое, а потому безопасны от возможности быть пойманными на месте преступления. Обыкновенно они пересылают лошадей один другому взамен и этим уже торгуют. При этом наблюдается, чтобы дорогие лошади, за которыми может быть сильная погоня, быстро спроваживались в Турцию или в Австрию. Для скорости поят таких лошадей водкою, и пьяная скотина не знает утомления.³⁴ Если при переводе лошадей и попадется вор, то второстепенный, не атаман, который сидит дома, а оговоры недостаточны для приговора. Потому, когда второстепенных конокрадов ссылают и т. п., сами атаманы отделяются подозрением и получают свободу, хотя бы и попали в тюрьму. Даже и в том случае атаманы безопасны, когда бывают вынуждены на месте продавать краденых коней, потому что прежде подделают масть, зубы, даже копыта и уже в таком измененном виде продают их. Искусство подделки доведено до такой степени совершенства, что случается самому хозяину купить своих лошадей без всякого подозрения в обмане. В этом отношении особенно славится м[естечко] Жашков (Киевской губернии). Здесь один помещик продал четверо лошадей, потому что ему не нравилась их масть - и через три часа купил другую четверню по вкусу. Че-

34 - Обыкновенный прием 1/20 ведра через каждые 30 верст.

рез несколько месяцев оказалось, что это были те же самые лошади, только подкрашенные.

Из сказанного о причинах безопасности атаманов следует заключить, что у них должны быть шайки. Но с большею вероятностью можно сказать, что шаек нет у злодейских атаманов. Сколько нам известен воровской быт края, в шайки собираются люди бродячей жизни, которые предпочитают грабеж и воруют вещи. Лошадей красть они не могут, потому что не имеют возможности кормить их. Если иногда и украдут лошадь, то или для перевозки припасенного добра, или для скорейшего побега. Не таковы конокрады. Эти имеют определенное место жительства, живут среди общества и никогда не бедны, напротив, часто владеют значительным состоянием. Устраиваться в шайки для них опасно, потому что один изменник предал бы всех, так как каждого из них можно накрыть дома. И действительно, мы ни разу не слыхали, чтобы злодейские атаманы имели шайки. Они живут сами по себе. Атаманы пользуются ими, платя за приводимых лошадей, но в самой краже другим способом не участвуют. Поставщики лошадей никому не известны, кроме самого атамана и себе подобных. И не будь атаманов, они или оставили бы свое ремесло, или же скоро были бы переловлены.

Их употребляют атаманы как орудие мести, равным образом платя как за послушание, так и за лошадей. Краденые лошади до возвращения хозяину или до пересылки другому атаману содержатся в секретных местах - в погребах, в сараях, сделанных в скирдах соломы или сена, также в лесах и ярах. Очень редко содержат их в обыкновенных стойлах у самих атаманов или у соседей, но никогда у поставщиков.

Один от другого атаманы живут в значительном расстоянии, чтобы не мешать друг другу, и находятся между собою в постоянных сношениях. По тому значению, какое они имеют в конокрадстве, атаманы до такой степени дерзки, что даже решаются принимать различных плутов под свое покровительство. Мы знаем, напр[имер], священника, который занял у еврея 50 р[ублей] с[еребром] сроком на три года. Заплативши в течение трех лет 150 р. и давши около 20 четвертей пшеницы, не считая гусей,

курей и т. п., он по наступлению срока отказался дать еще 300 р., которых требовал заимодавец. Тогда этот последний обратился с жалобой к злодейскому атаману в Умань, который и вступился в его дело. Сначала он, намекая на свое значение, требовал всей суммы, наконец, сбавляя понемногу, остановился на 50 р. Когда же священник отказался заплатить и 50 копеек, не только 50 рублей, то атаман уехал с угрозой, что не уважит и просьбы священника. Этот понял, чем грозит атаман, и принял все меры предосторожности, однако лошади все-таки были украдены. Их у бедного была только пара - и то пополам с братом.

Какую выгоду получил от этого заимодавец, неизвестно. По всей вероятности, на его долю осталось только злорадование.

Атаманствуют, за весьма редкими исключениями в пользу шляхты, евреи. Эмблемою атаманства служит конская голова, которая торчит где-либо на заборе или на крыше. Иногда эту голову снимают, иногда поворачивают ее то в ту, то в другую сторону. Какой смысл имеют эти знаки, нам неизвестно.

Нам остается сказать о символических приемах, по которым конокрады-поставщики узнают один другого. В шинок, напр[имер], приходит конокрад, который желает иметь товарища. Он садится у стола, выпивши водки, ставит рюмку вверх дном и, обрезавши кусок хлеба, ставит его надрезанною стороною от себя. Тогда затыкает одну полу за пояс и начинает закусывать. Ответных знаков ни выпросить, ни подметить нам не удалось.

Полагаем, что из сказанного каждый увидит, почему злодейских атаманов все боятся и почему они никогда не подвергаются законной ответственности. Сверх всего, сильною опорой для атаманов-евреев служит само еврейское общество. Кроме одобрения, оно готово поддерживать их не только деньгами, но и силою. Всем известен их обычай действовать скопом, целым кагалом; а мы узнаем примеры, что против таких скопищ были посылаемы крестьяне с вилами, цепами и т. п., однажды даже употреблена была команда драгун. Но об этом в свое время; пока довольно и конокрадов.

ПОПАЛСЯ ВПРОСАК

Дере коза лозу, а вовк козу,
вовка мужык, мужыка пан,
пана юриста, а юристу чортив трыста.
Народное изречение

- Приготовь мне, душечка, белье,- сказал чиновник Антон Иванович своей жене.- Завтра меня куда-то командируют.

- И ты не знаешь куда? - с удивлением сказала жена.

- Секрет.

- Так у тебя есть секрет! Я и не подозревала.

- Не от тебя, душечка. И это не мой секрет. Начальник сказал, что буду послан по секретному делу, вот и все. А куда буду послан, узнаю из адреса на пакете, который должен буду вручить начальнику города, куда буду командирован.

- Г-м! Это довольно странно,- заметила жена.

- Пожалуй, и я с тобою согласен,- сказал муж.- Но, знаешь ли, по делам, в которых замешаны евреи, по моему мнению, нельзя поступать иначе: проводят бестии, и концы в воду.

- Так ты едешь по еврейскому делу? - торопливо спросила жена.

- Только это и знаю,- ответил муж.- А в чем это дело, узнаю из пакета, который должен буду распечатать и прочесть вместе с городничим, которому повезу.

- Душечка! - воскликнула жена, обнимая и целуя своего мужа.- Довольно-предовольно и того, что едешь по еврейскому делу! Мы будем счастливы! Не правда ли, ты уже будешь умнее и привезешь пропасть денег? Душечка! голубчик! не правда ли? - лепетала жена, продолжая осыпать мужа поцелуями.

- Полно, полно,- сказал муж.- Дай говорить.

- Понимаю,- сказала тогда жена и села, насупившись.- Понимаю! Дураком родился, дураком и помрешь.

- Это я уж не раз слыхал из твоих любезных уст.

- И всегда будешь слыхать то же, пока не исправишься. Посу-

ди сам, к чему послужила нам твоя честность? Ты едва одет, я только что не боса... А ведь ты уже скоро шесть лет на службе и занимаешь такую должность, что другой давно озолотился бы. Посмотри...- И начала называть одного за другим, кого знала нечистым на руку.- Ну? - продолжала далее.- Кто счастливее? У них лошади и фаэтоны, а ты едешь верхом на палочке; у них кучера одеваются лучше моего мужа; а весь мой гардероб не стоит и одного платья каждой из этих чиновниц. О том же и говорить нечего, что каждая из них по будням одевается лучше, нежели я на пасху.

- Что же прикажешь делать, если такое жалованье получаю, что не раскошелишься. Простирай ножки по одежке.

- Отчего же те живут не по-нашему? Отчего у них есть все, а у нас ничего, хотя большая их части ниже тебя по службе и получают содержание меньше?

- Те? те другое дело,- сказал Антон Иванович.- Но ты ошибаешься, думая, что у них есть все, а у нас ничего. У них далеко не все есть, а у нас далеко не всего нет.

- Что же у нас есть? Говори.

Антон Иванович не отвечал.

- Молчишь,- сказала, подождавши, жена.- Молчишь, потому что сам сознаешь свою вину. Ты глуп, а они умны. Оттого они богачи, а ты нищий. Если бы ты - да что толковать! Вот давеча купец давал сто рублей, что было принять? Другой, пожалуй, и в руку поцеловал бы, а ты осерчал, разбранил. Что же вышло? Ты остался честным и не с чем на базар сходить,- картошкой перебиваешься; а у них три-четыре блюда каждый день. Да еще и смеются с тебя все и тот самый купец.

- Пусть себе,- сказал Антон Иванович, закуривая папиросу.

- Боже мой! Боже мой! - завопила жена, ломая руки,- покарал меня господь твоею честностью! Лучше бы мне в девках поседеть, нежели выйти за тебя безжалостного, за тебя бессовестного. Лучше бы выйти за последнего дурака, нежели за тебя образованного! Неужи ни в чем не нуждаются, а ты воспитывался в университете - и нищий.

- Нет, я богат! - воскликнул Антон Иванович.- Богат своею

совестью.

- Купи мне на нее платье или, по крайней мере, заплату!.. Ах-ах! совесть! Наговорили с кафедры, так ты и цацкаешься. Что мне из твоей совести, из твоей учености? Голые локти? Любишься!

- сказала жена, показывая действительно голый локоть. Дешевое ситцевое платье до того износилось, что и починить его нельзя было.

- Дай, поставлю заплату.

- Не лоскуток ли совести нашьешь? Или, может быть, кусок честности, учености?

- Ох, ох! - вздохнул Антон Иванович.

- Ох, ох! - передразнила жена.

Помолчавши несколько минут, Антон Иванович сказал: «Так приготовишь белье?»

- Приготовь сам себе,- ответила жена.- Только, пожалуйста, не зови тряпок бельем. Ты никогда не будешь в состоянии иметь белье.

На утро Антон Иванович прощался с женою.

- Если не думаешь перемениться, то лучше пропади,- сказала жена.- Оставшись вдовою, хоть буду страдать хуже теперешнего, зато буду знать, что у меня мужа нет. О детях бы ты подумал!

Антон Иванович, слушая, качал головою.

- Господи! Избавь меня от честности, как избавил от уродства,- продолжала жена, которая была, действительно, недурна.

- Друг мой! - начал Антон Иванович.- Нравственное уродство хуже физического. Последнее пропадает вместе с телом, а первое переживет тебя на сем свете. Ты унесешь и его за пределы этой жизни и оставишь детям воспоминание и позор,- сказал Антон Иванович и вышел.

- Позор! позор... Лучше позор и, по крайней мере, достаток, нежели почесть и котомка нищего... Но кто презирает у нас самых отъявленных взяточников и почитает даже лично страдающих за честность, не говоря об их потомстве? Все это не больше как фразы и фразы! Не личностям кланяются, а их средствам, и тем ниже, чем более обладатель имеет возможности жить без труда. Мало ли чего не говорят! Но «не все те правда, що на

высилли плещуть».

Так рассуждала сама с собою жена, оставшись одна в одной из трех комнат, образующих собою флигель почти последнего двора в нашем просвещенном и богобоязненном Киеве. Антон Иванович не имел средств нанять квартиру ближе, хотя занимал одно из видных мест в губернском чиновничестве. Под самими окнами с двух сторон его квартиры стоял высокий дощатый забор; с третьей, от улицы, двухэтажный дом, в котором жил сам хозяин - отставной квартальный какого-то уездного городка; а с четвертой не было ничего такого, о чем бы следовало упомянуть. Скажем разве, что с этой стороны никогда не отпирались ставни - не потому, что они были забиты, но они забиты были именно для того, что в эти окна мог смотреть только слепой,- отворить же окно мог бы только безносый.

Такую-то квартиру занимал Антон Иванович, который, расставшись с семейством, катил на почтовых вниз от Киева, в один из городов, близ которого проходит теперь киево-балтская железная дорога.³⁵ Кругом горы, кругом поле; где-где виднелись леса... Наслаждение! Его не знала жена Антона Ивановича, оставшаяся в городе смотреть за детьми, за хозяйством и почти голодать.

I

Сим мыль мосту, а на кинци
квит на весь свит.
Загадка

Уездный город N - большой город. В нем есть несколько церквей, в которые одни приходят, чтобы стать впереди и показаться,- другие, чтобы смотреть сзади и удивляться. И действительно, смотрят и удивляются, зачем те вперед пхаются. Есть и ко-

35 - Киево-балтская железная дорога...- залізниця, по якій у лютому 1870 р. було відкрито рух між Києвом і Балтою.

стел, в который ходят кокетничать и скандалничать. Есть и си-нагога, кроме архитектуры, замечательная как склад заграничных товаров - тайной перевозки, и внутренних - тайного приготовления. Есть и речка в этом городе, прозванием Мутная, в которой никто даже не покушался ловить рыбу и не будет. За то сам город - такая мутная вода, в которой не ловил рыбу только тот, кто почему-либо довольствовался хлебом - хоть сухим, но насущным. Сюда-то был командирован Антон Иванович с секретным пакетом на имя городничего. От Киева город N в таком расстоянии, что по казенной³⁶ можно доехать до него менее чем в сутки, а потому Антон Иванович по выезде из Киева прибыл к назначенному месту в одиннадцать часов ночи. Городничий в это время уже спал.

- Ваше б[лагороди]е! - будил его десятский.- Ваше б[лагородие]

- Проклятый туз! - бредил городничий.- А чьи онеры?

- Ваше б[лагороди]е! депеша!

- Ваши, ваши? За то левэ наши,- продолжал бредить и городничий.

- Чиновник з Киева! Чы не левизор!

- Га? Что? - спросил городничий, поджимая одну ногу, а другую протягивая, так что в колене трещало.

- Левизор приехать изволили! Ждут в зале.

- Одеваться,- гневно и грозно, но шепотом сказал городничий, опамятававшись.- Да самовар сию же минуту!

- Будет ли пить еще!

- Не рассуждай! Он подорожный!

Через несколько минут городничий был в форме. Посмотревшись в зеркало, подкрутивши усы, погладивши бороду и щеки, он вышел в залу.

- Извините,- сказал Антон Иванович,- дело срочное. Я по распоряжению высшего начальства. Вот вам и пакет.

- Извините меня,- сказал городничий, меряя Антона Ивановича с ног до головы,- я должен извиняться, а не вы. Нас, изволь-

36 - ...по казенной...- Йдеться про супровідний лист, по якому на поштових станціях службовим особам давали коней в першу чергу.

те видеть, не Киев. Ни театров, ни клубов, ни прочего такого, где бы отдохнуть, подремать, а работы тьма-тьмушая, так пошли, бог, ночь, а мы сумеем ноги откинуть. Вот и валяешься всю ночь,- бревно неотесанное. Истинно, неотесанное бревно,- подтвердил городничий,- я капитан из даточных.

- Дело, не терпящее отлагательства,- сказал Антон Иванович.

С трудом дальнзоркий от старости городничий прочел адрес и всю надпись на пакете. Дочитавшись до слов «Распечатать вместе с вручителем таким-то», он чуть с ног не свалился: «Незабудки растут! Прощай, уголок!» - подумал городничий, воображая, что ему привезли, по крайней мере, отставку. «Но как это вместе? А, понимаю,- догадался городничий и предлагает Антову Ивановичу пакет.- Извольте, распечатаемте», - говорит. Антон Иванович хотел взять пакет из рук городничего. «Нет, извините-с,- сказал городничий,- вместе».

- Да, вместе,- сказал Антон Иванович, не понимая ничего.

- Коли вместе, так вместе,- продолжал городничий,- Держите же.

Антон Иванович взял одною рукою за конец пакета, другой конец которого держал в руке городничий.

- Теперь распечатаемте,- сказал городничий.

- Не понимаю,- сказал Антон Иванович.

- Гм,- сказал городничий.- А еще и образованный человек? Самой сути не понимаете. Коли вместе, так вместе. Это значит не вы и не я, а оба разом, вместе, а не поодиночке.

После этого городничий научил Антона Ивановича распечатать и прочесть пакет вместе. Это вышло таким способом, и что один из них разорвал конверт с одной стороны, в то время когда другой в свою очередь разрывал его с другой стороны. Читали же оба враз и громко.

- Эхм,- произнес городничий, когда чтение было кончено. Антон Иванович клеил папиросу.

- Не угодно ли готовой? - сказал городничий.

- Я привык к одному табаку и курю всегда только свой,- сказал Антон Иванович.

В это время в другой комнате начал покашливать десятский.

Городничий догадался в чем дело и говорит: «Чайку не угодно ли? По дороге это бы кстати».

- Спасибо,- сказал Антон Иванович,- но не лучше ли, вместо чаю, приняться за дело.

- Я понимаю дисциплину,- начал городничий,- где дело касается службы, там не дремай. О!.. У меня не только не дремай, но помни и одиннадцатую заповедь? Наполеоновскую, значит, не зевай? Ха-ха-ха!

Спустя несколько минут Антон Иванович и городничий в фэ-этоне, частный пристав, квартальный, десятские и несколько понятых на петушках отправились к синагоге, которую, по распоряжению губернского начальства, надо было обыскать. Так как дело происходило ночью, то порешили отложить обыск до следующего дня, а теперь только запечатать синагогу и поставить караул.

II

Еще не пробило двенадцати часов, как синагога была опечатана двумя печатями - полицейскою и Антона Ивановича; к часу же городничий собрал весь кагал на совет, и Антон Иванович к тому же времени пил чай на постоялом дворе. Вдруг отворилась дверь и явился мишурис: «Булки хорошие!»

- Не нужно,- сказал Антон Иванович.

- Бублики, сухари,- продолжал еврей.

- Не надо, говорю тебе.

Мишурис удалился. Но едва он вышел, как явилось два. «Гребешки, подтяжки, пуговицы, ножики хорошие»,- говорит один. «Перчатки, галстуки, манишки, воротнички»,- говорит другой.

- Ничего не нужно,- сказал Антон Иванович.

- Сургуч, бумага, носовые платки,- твердили евреи.

- Ничего не нужно! Мишурисы пошли, но не молча, а продолжая говорить: «Носки хорошие, рубашки готовые». Антон Иванович молчал. За этим ввалилось в комнату не менее десятка евреев с разными товарами. «Спички, свечи, мыло, чернило, та-

бак, сукна, полотно заграничное», - твердили все враз.

- Убирайтесь к черту! - крикнул Антон Иванович.

- Так ничего и не купите?

- Убирайтесь, говорю вам.

Евреи ушли, но не все - два осталось.

- Вы чего ждете? - спросил их Антон Иванович.

- Мы не мишуры, мы по делу, - ответили евреи.

- Я никаких жалоб не принимаю.

- Мы не с жалобой. Мы пришли спросить, чья ваша долгая прогостите у нас?

- Это к чему вам?

- Стало быть, нужно, если спрашиваем. Если бы не нужно было, то не спрашивали бы.

- Извольте. Завтра уеду, - сказал Антон Иванович.

Евреям этим во что бы то ни стало хотелось втянуть Антона Ивановича в разговор - и успели. «В Киев?» - спросили они.

- В Киев, - ответил Антон Иванович.

- Извините, - продолжали евреи. - Мы знаем, что подорожному человеку нужен покой; мы только на одно словечко. Позвольте спросить, знавали, ваша, там, в Киеве, NN?

- Что дальше?

- Что он теперь делает?

- Сходите да посмотрите. Полагаю, спит.

- Нет. Но он в отставке?

- В отставке.

- Эй-вэй! Такой человек в отставке! - воскликнули оба еврея и начали говорить между собою по-еврейски - и сперва спокойно, а затем подняли крик.

- Что расходились? - заметил Антон Иванович.

- То мы так себе, извините. Мы говорили, что такого чиновника, какой был NN, не скоро удастся видеть. Это была душа, а не человек, чистый, как золото. И пострадал? Эй-вэй!

И опять начали говорить между собою, пересыпая свою речь русскими бранными словами.

- На базаре вы, что ли? - сказал Антон Иванович.

- Извините, ваша, нам жаль NN, - сказали евреи. - Тут-таки,

в нашем городе, живет еврейчик - такой богач! Он-то и упек NN. Попался, извольте видеть, с контрабандою и давал ему взятку - такую взятку, что можно бы стать купцом первой гильдии.

- Первой не первой, а второй можно бы,- перебил другой еврей.

- Ну-у? А хоть бы и третьей, то разве мало? - сказал первый своему товарищу и, обратившись к Антону Ивановичу, продолжал: - Но NN не только не принял, а даже донес суду - и посадил еврейчика в тюрьму. Ну-у! Провинился, так и отвечай. Но он не так сделал. Он, бездельник, заплативши *здесь-то* выше, и теперь занимается по-прежнему контрабандою, а честного человека турнули. Эй-вэй! Он был семейный?

- Даже многосемейный,- ответил Антон Иванович.

- Эй-вэй! Що то гроши!.. Нема правды.

- Ребе Дувид! - раздался голос в сенях.

- Ву-ус? - откликнулся один из разговаривавших евреев.

Голос из сеней произнес фамилию другого отставного чиновника.

- А этого знавали, вашець? - спросил Дувид.

Антон Иванович и этого знал. «Этот,- сказал он,- прибил кого-то, что ли,- словом, причинил кому-то смерть».

- Он побил? причинил смерть? Он мухи никогда не убил, блохи никогда. Он был, как дитя! То его самого у нас били - так били, что аж отливали. А правда, что он сидел в тюрьме?

- А если и правда?

- То погано честному человеку на свете,- сказали евреи,- тот не брал, так обвинен во взяточничестве, этот и не ругал никого, был побит - и обвинен в разбое. Эй-вэй-мир! Какой теперь свет настал!

Еще и еще говорили евреи, распространяясь о невинности этих пострадавших чиновников и взваливая всю вину на своих единоверцев. Хитрые, они вели дело таким образом, что своими обвинениями только доказывали могущество соплеменников. Они хвастали этим могуществом, с умыслом выставляли на вид разные пакости, чтобы дать почувствовать бессилие чиновников и запугать Антона Ивановича. Такова была цель их прихода -

они достигли ее с полным успехом. Антону Ивановичу взгрустнулось. Перед выездом из Киева начальник сказал ему: «Не ударьте лицом в грязь. Я уже посылал и военных, и штатских; те и другие пакостили. Один вымогал взятку, другой начал драться... Так вот, теперь посылаю вас, ученого. Увидим, в тюрьму ли попадете или только в отставку».

Вспомнив эти слова и сравнив их с рассказами евреев, Антон Иванович грустный ходил по комнате. Он и прежде сомневался в виновности обвиненных, но евреи представили столько свидетелей в свою пользу, что и самый пристрастный судья не мог бы оправдать чиновников. Теперь же он окончательно убедился, что они были оклеветаны и пострадали за свою честность. В противоположность этому он знал блаженствующих взяточников и казнокрадов и невольно задался мыслию: «А я то как? Чем это я кончу свою карьеру? Не права ли, в самом деле, моя жена, обвиняя меня?» Мысли сновались в голове, одна другой печальнее, воображение рисовало картины, одна другой безотраднее. И тяжелая тоска давила грудь. Евреи, строго следившие за впечатлением, какое производили на Антона Ивановича их рассказы, верно поняли причину его грусти. А чтобы довести дело до конца, они выдавали самые тайные секреты, самые низкие проделки евреев с чиновниками, с панами, с крестьянами, со всеми. Чем сильнее они чернили своих, тем рельефнее выдавалась их безнаказанность, тем сильнее Антон Иванович убеждался в небезопасности своей.

- Вы думаете,- сказал ему, наконец, еврей,- вы думаете, что с нашими легко справиться? Ой-вэй как ошибаетесь, если так думаете! Вот вы запечатали синагогу. Там точно есть контрабанда, но конфисковать ее - у! опасно, а арестовать самих контрабандистов еще опаснее.

- Почему же? - спросил Антон Иванович.

- Э, почему? Если бы вы не были вы, а кто-либо другой, что любит *хапыс*, то иное дело. Но вы человек честный, потому вам дуже-дуже опасно! Против вас станет весь кагал. А что значит кагал? Если один наш еврейчик мог побить и посадить в тюрьму честного чиновника, то чего не сможет сделать кагал? В ложке

воды утопит!

- Неужели так дружно станут в защиту воров?

- Ховай, боже! Кто стал бы защищать их целым кагалом? Для этого достаточно одного-двух еврейчиков-купцов - и дело в шляпе. А что найдутся охотники защищать их, то это неудивительно. Кому неизвестно, что все наши еврейчики плуты? Этого довольно, чтобы поддержать контрабандистов, которых не все считают преступниками. Но здесь главное синагога! Одно слово синагога! Это великое слово! Весь кагал станет как один человек, чтобы защищать синагогу. Сочинят пост на завтра и обвинят вас в оскорблении религии. Вот и вся штука. Тогда отдувайтесь своей честностью.

Антон Иванович ничего не сказал. «Попал я впросак», - думает он. А евреи перемигнулись между собою, и один сказал: «Нет лучше, как правда на свете, но пока нет правды, надо жить криво. Боже наш, боже!»

После этого, прилично извинившись и поблагодаривши за снисходительное внимание, евреи удалились, оставив запуганного Антона Ивановича думать на самоте. «Что, в самом деле, если евреи вздумают обвинить меня в оскорблении религии? - спрашивал он сам себя. - А это ведь так легко сделать. Может быть, у них уже и жалоба готова. Как знать! Но какой же я простофиля! - спохватился Антон Иванович. - Почему бы не спросить было о фамилиях контрабандистов! Но все равно, я их узнаю от раввина или самого обвиню, если откажется выдать виновных. - Тут повернулась мысль на защиту целым кагалом. - Обвинить раввина, - подумал Антон Иванович, - значит подписать свое осуждение. Если синагогу станут защищать целым кагалом, то раввина и синагогу - целым племенем. Погубят, непременно погубят, - решил Антон Иванович. - Зачем мне было ехать? Почему я не отказался? Чтоб попасть под суд!»

В это время тихонько отворилась дверь и явилось две еврейские головы. Антон Иванович посмотрел на них со страхом, как будто они явились для осуждения его. «Что вам надо?» - спросил он. Вместо ответа, одним прыжком очутилось два еврея у самого лица Антона Ивановича и, схвативши его за обе руки, целуют их,

целуют полы, приговаривая: «Жена, дети! Спасите! Спасите!»

- Бог с вами! Что вам нужно от меня? - спросил оторопевший Антон Иванович, освобождая руки.

- Детки, жена! - вопили евреи, стараясь снова поймать руки и целуя в грудь, в локти, куда попало.

- Бога ради, перестаньте. Что вы делаете? Чего хотите? Говорите толком,- сказал Антон Иванович, приходя в себя.

- Эй-вэй! Ваше превосходительство! не погубите, то наша контрабанда в школе. Не погубите нас!

- Это не в моей воле и не в моей власти,- сказал Антон Иванович, отступая к столу.

- Как не в вашей? Чисто в вашей.

- Говорю вам, что нет.

- Эй-вэй! Как нет? А зачем там ваша печать?

- Там не одна моя печать.

- Другая нам ничего, нам ваша печать страшна. Снимите ее и большой беды избежите. Еще и деньги вам дадим.

«Как рада была бы моя жена! - подумал Антон Иванович.- Но я взятки не возьму». Евреи между тем продолжали: «Нам денег не жаль - деньги - *набутня рич*. И себя нам не жаль; мы виноваты и должны отвечать за свой грех. Нам жаль вас. Вы человек добрый, жаль, если пропадете даром. А непременно пропадете, если объявите нашу контрабанду. Наперед говорим вам, что кагал постановил спасти нас, во что бы то ни стало. И вот, как хотите: или примите деньги, которые нам кагал пожертвовал, или же попрощайтесь со всем, что вам дорого. Мы знаем, что вы до сих пор не брали взяток, потому и терпите нужду. Мы все знаем. Так верьте же, что еще не кончите осмотра синагоги, как прилетит депеша из Киева об отдаче вас под суд. У наших везде есть рука, где только знают цену деньгам. Мы говорим правду, и вы послушайте нас. Примите деньги и баста. Вот вам тысяча рублей. Если этого мало, дадим две, дадим десять тысяч, только не губите нас и себя, разумеется.

Сказавши это, еврей начал считать деньги - все радужными. Антон Иванович молчал. За несколько часов перед этим он вспыхнул бы, как порох, а теперь прежний огонь едва теплился. Он

был как бы сонный или полумертвый.

- Не надо мне ваших денег,- сказал он наконец.

Еврей молча досчитывал десятую тысячу, досчитавши, сказал: «Теперь как хотите. Примите и будете спокойны до гроба, или не принимайте, оставайтесь честными по-старому, и завтра же никто не даст вам куска хлеба, не только денег. И как будет довольна ваша жена! Мы знаем, что она журит вас за честность, так возьмите же хоть раз и успокоите ее».

«Откуда им известны мои семейные отношения? - думал Антон Иванович.- Неужели им дух святой сообщил это?» - Нет, не он, а эстафета. Несколько часов по выезде Антона Ивановича из Киева никто не знал, куда он уехал, но, наконец, узнали. Еврей-почтосодержатель тотчас же отправил эстафету. Но так как она была отправлена не прямо в тот город, куда выехал чиновник, а только в ближайший город, тоже почтосодержателю, с просьбою отослать куда следует, то опоздала. Синагога была уже запечатана, когда прибыла она, и евреи могли воспользоваться ею только в отношении самой личности Антона Ивановича, не более.

- Так решайтесь на что-нибудь,- настаивал еврей.

- Я ничего не могу пособить вам,- сказал Антон Иванович.- Тем более, что там не одна моя печать,

- Другая нас не беспокоит. И вы предоставьте нам устроить дело, дайте только свою печать - на один час, не более. А мы уже знаем, что и как сделать.

Антон Иванович поколебался немного, наконец дал им печать: «Но, смотрите, только на один час».

Получивши печать, евреи стремглав бросились из комнаты, так что в дверях застряли.

III

«Боже мой! Боже мой! Что я сделал? Где моя совесть? Где моя совесть? Я взяточник, боже мой! - каялся Антон Иванович, лежа на незастланной койке, в той самой комнате, где взял первую взятку.- Как мне вспомнить свое прошедшее, слова свои, свои

мысли, которыми я так гордился! Как мне смотреть в глаза тем, на кого я нападал, кого я осуждал! Вот тебе и образованный человек! Не сжечь ли взятку?»

Сальная свеча до того нагорела, что едва светила, папироса потухла, а Антон Иванович лежит да страдает. С каким удовольствием он согласился бы вычеркнуть из своей жизни эти несколько часов! Какая глубокая рана зажила бы!

- Добры вечер! Спите? - весело спросил вошедший еврей - один из тех, которые получили печать.

Антон Иванович будто проснулся: «Что? Уже? - спросил он.- Так скоро?»

- Мы люди ловкие,- ответил еврей.- Мигом устроим всякое дело.

- Тем лучше для вас. Пожалуйте же печать.

- *Пожалуйте пятнадцать тысяч, то получите печать.* А не то миг все расскажем стряпчему, доставим ему и вашу печать, тогда на себя пеняйте.

Если бы кто ударил Антона Ивановича обухом в темя, то не так оглушил бы его, как еврей своим требованием. Он просто остолбенел.

- Ну-у? - продолжал еврей, смотря ему прямо в лицо.- Ну-у? Дадите деньги или идти к стряпчему?

- Где же мне взять столько? - сказал Антон Иванович, сам себя не помня.

- Где хотите, или в Сибирь. Вы думаете, что мы не знаем закона? Мы отлично знаем закон. Мы знаем, куда запрут вас. Так откупитесь?

- Чем же мне откупиться? Я сделал вам добро, а вы черт весть что хотите сделать со мною!

- И мы хотим вам сделать добро, только дешевле: вы сделали нам добро за десять тысяч, а мы хотим сделать его вам только за половину. Возвратите же наши десять и прибавьте своих пять - *та й герехт.*

- И поделом! - рассуждал Антон Иванович.- Не брать было взятки. Если бы пострадал, оставшись честным, то имел бы отраду, по крайней мере, в чистой совести, а теперь... Так и быть!

Ступай, взяточник, в тюрьму!

Вошел Дувид. Хотя он знал все и первоначально был послан другими с целью запугать Антона Ивановича, однако притворился ничего не знающим и спрашивает его: «Что с вами, что на вас нет лица человеческого?»

- Спросите у них,- сказал Антон Иванович, указывая на другого еврея.

Дувид обратился к нему - и завязался горячий спор. Дувид принял сторону Антона Ивановича, а тот настаивал на своем.

- Так и быть! - сказал наконец Дувид по-русски.- Хочешь половину?

- И слушать не хочу,- ответил другой еврей тоже по-русски.

- Да я только и могу дать, что возвратить ваши деньги,- сказал Антон Иванович.

- Прибавьте что-нибудь отступного,- сказал Дувид.

- Из чего же я прибавлю, если у меня больше нет?

- И не будет никогда,- сказал требовавший денег.- Дайте наши и бог с вами!

- Вот на столе,- сказал Антон Иванович.- Я до них и не дотрагивался. «Слава богу, что не сжег!» - подумал он.

Еврей пересчитал деньги, спрятал их, а потом отдал печать и сам удалился. Дувид же остался с Антоном Ивановичем и заботливо расспрашивал его обо всем, как будто сам ничего не знал. Когда Антон Иванович рассказал все как было, то он воскликнул: «Эй-вэй! Почему меня здесь не мыло! Вот я бы посоветовал вам штуку! Что вам стоило написать городничему, что приходил такой-то еврей и украл печать? Пусть бы оправдывался».

«Правда,- думал Антон Иванович.- Это вышла бы отличная штука». Но уже было поздно прибегать к чему бы то ни было. Да Антон Иванович ни за что бы и не сделал подобной выходки. Он рад был, что тот ушел и личное унес.

- Не правду ли я говорил, что у нас плут на плуте, едет? - сказал далее Дувид.- Наши еврейчики мастера на все штуки. По крайней мере вы теперь безопасны. Контрабанда прибрана - и делу конец!

Антон Иванович ничего не отвечал. Дувид скоро вышел, по-

смеиваясь, а он, не раздеваясь, лег на незастланной конке.

Не спится человеку в таком состоянии духа, в каком находился Антон Иванович. И он не спал, только лежал, потушивши свечу, как будто боялся света. Но и во мраке не дремала оскорбленная совесть: евреи, деньги, тюрьма, ссылка, позор и страдание - заслуженное и незаслуженное - так и носились перед глазами. Когда же, наконец, удалось заснуть, то и тогда душа не успокоилась; снились черти, называвшиеся вчера слышанными именами и имевшие физиономии вчера виденных людей. И как ни радостно он встретил день, однако был бы рад никогда не видеть таких дней. Как было обыскивать синагогу и чего в ней искать? Той контрабанды, которую сам помог спрятать? «Хорош чиновник! - рассуждал Антон Иванович.- И как образцово оставлен в дураках! Вот так не ударил лицом в грязь!»

Это приключение так подействовало на Антона Ивановича, что он признал себя неспособным для службы в здешнем крае и постарался перейти на север, где нет евреев. По той же причине и жена перестала мылить ему голову за честность, хотя и не оправдывала его поведения. Но Антон Иванович и этим был доволен.

ШИНКАРЬ

I

- И бога вы не боитесь отпускать такую гадкую водку, да еще и в свой шинок! - сказал однажды помощник акцизного надзирателя одному заводчику.

- Как так? - спросил заводчик.

- Да очень просто. Вчера в с[еле] N, в вашем шинке мною составлен уже второй акт. Прежде было 36°, а вчера только 32°.

- Я приказываю отпускать не иначе как в 45°. Виноват, значит, шинкарь или подвальный, а не я.

- Шинкарь сваливает все на подвал.

- Посмотрим,- сказал заводчик и велел позвать подвального.

- Ты, должно быть, слишком богат, что не стесняешься платить штраф? - сказал заводчик подвальному, когда тот пришел.

Подвальный посмотрел на чиновника, потом на заводчика, затем опять на чиновника и ответил: «Я богат? Если бы я был богат, то не служил бы, тем более за десять рублей в месяц».

- Почему же и этим не дорожишь? Давеча я вычел с тебя семь с полтиною, а скоро придется вычесть вдвое.

- За что?

- А зачем отпускаешь вино в N в 32°?

- Никогда. То шинкарь сиропит. Я отпускаю, как вы приказать изволили, в 45°. Не угодно ли справиться по книге и проверить бочку? Кстати, она еще не вся израсходована.

Все трое отправились в подвал, испытали вино, сличили с книгами: подвальный оказался правым.

- В таком случае я вам посоветую печатать бочку и давать пробу,- сказал чиновник заводчику.

Это случилось в 1868 году, когда еще не было обязательно печатать бочки и давать пробы.

Кому бы то ни было, а тем более богатому помещику, каким был этот заводчик, неприятно прослыть плутом. От двух до че-

тырех не далеко. Два акта уже есть, год же только начинался; поэтому можно было надеяться, что и четвертый акт будет составлен. А там и опубликуют в «Губер[нских] ведомостях», что *такой-то* помещик лишается права торговать вином по причине частых нарушений устава о пит[ейном] сборе. На беду, патент был на имя заводчика и штраф определялось взыскать с него же. В силу таких обстоятельств, мера, предложенная акцизным чиновником, была охотно принята.

Спустя около месяца тот же чиновник, ревизуя подвал того же заводчика, нашел в книге, что в провинившийся шинок на днях сделан отпуск. Правду сказать, он подозревал в злоупотреблениях самый подвал, почему, не говоря никому ни слова, уклонился от прямого пути и заехал в шинок. Печати на пробе и на бочке найдены целыми и одинаковыми.

- Из этой ли бочки взята проба? - спросил чиновник.

- Из этой самой,- ответил шинкарь.

- При тебе?

- Я сам же наливал.

- Теперь узнаем, кто прав, кто виноват - шинок или подвал? - сказал чиновник, распечатывая пробу.

- Я человек честный,- сказал шинкарь.- Не люблю и не хочу плутовать; даже не умею. Сверх того я беден, должен дорожить местом. Что я делал бы, получивши отказ? Если есть какая неправда, то виноват подвал.

Проба оказалась в 45°.

- Такое ли вино и в бочке? - спросил чиновник.

- То же самое,- ответил шинкарь.- Я сам вынимал пробу. И испытывать не для чего.

- Уверимся,- сказал чиновник.

Шинкарь этого не ожидал. Он думал, что удовольствуются испытанием пробы, и побледнел. Впрочем, наливая водку в стакан спиртомера, спокойно сказал: «Испытайте, я не знаю. Здесь было немножко на дне прежней водки. Может быть, нагрелась, может быть, устоялась».

Едва налили в стакан, как понятые заметили различие между этою водкою и пробною.

- Эге! - сказал один.- И цвет не такой.

- Это какая-то сивуха,- сказал другой.

- В очах тоби посывило,- заметил шинкарь с негодованием.- Ты дуже щось тямьш! Дуже розумный! Ов-ва!

- Ач, жидюга! - сказал староста.- Расходывся! Кто не видит, что эта водка мутна, а в пробе чиста, как слеза? Сам смотри, пока *трищи* не повылезали.

- Тридцать восемь,- сказал чиновник.- Смотрите.

- Видишь? - сказал староста шинкарю.- А еще ругаешься.

- Ну-у? А мне почем знать? Я думал, что отпущено *по-чесь-кий*. Если же там, при отпуске, сплutowали, то разве моя в том вина?

- Ты же говорил, что сам вынимал пробу,- сказал староста.

- Я этого не говорил,- сказал шинкарь.

- Как нет! - заметил чиновник.

- Бо нет,- ответил шинкарь.- Я только стоял возле бочки и бутылку держал, а вынимал подвальный.

- Пусть так. Все равно, ты видел, что проба взята из этой бочки? - спросил чиновник.

- Это я видел.

- Как же случилось, что в бочке вино семью градусами слабее против пробы?

- Кто его знает! - начал шинкарь.- Я знаю только, что когда пробу печатали, то мне сделалось дурно - так дурно, что я должен был выйти из подвала, подышать чистым воздухом, освежиться. Должно быть, тогда и влили воды. Я таки и подозревал, что влили, но думаю себе: «Бог с вами! Сами же и штраф заплатите, если кто поймает».

- Долго ли ты был на дворе? - спросил - тогда чиновник.

- Как вам сказать? - начал шинкарь, видимо обдумывая, как отвечать.- И долго, и недолго. Я немножко был на дворе.

- Минут пять?

- Може пять, може больше, може меньше,- ответил шинкарь.- У меня нет часов, не знаю. Как раз столько, что можно влить два ведра.

- Однако, выходя из подвала, ты оставил бочку полную? -

продолжал спрашивать чиновник.

- По сами клепки,- ответил шинкарь.

- Куда же поместились те два ведра?

- Эй-вэй! Вы не дали мне кончить. Я хотел сказать: по сами клепки було горилки, когда я вернулся в подвал, бочка была так полна, что, як забивали шпунт, то аж чвыркало.

- А дальше что? - спросил чиновник.

- Дальше? Дальше ничего,- ответил шинкарь.

- Так до твоего выхода из подвала бочка не была полна? - продолжал спрашивать чиновник.

- Не была,- ответил шинкарь.

- Забрехався есы,- заметил староста.

- Як-то забрехався? - сказал шинкарь.

- Постой. Я еще предложу тебе несколько вопросов,- начал чиновник.- Сколько ты взял ведер вина?

- Двенадцать.

- Хорошо. И в книге записано столько же. А бочка твоя какой емкости?

- Двенадцать.

- Как же могло случиться, что ты взял, говоришь, двенадцать ведер и бочка не была полна?

Понятые начали смеяться.

- Чого шкирыш зубы? - гневно сказал шинкарь.- Свыни!

- Не ругайся, а отвечай,- приказал чиновник.

- Брешы дальше, брешы,- сказал староста, продолжая смеяться.

- Так что скажешь? - спросил чиновник.

- Я не слыхал вопроса,- сказал шинкарь. Чиновник повторил вопрос.

- А разве она не была полна? - начал шинкарь.- Она не была неполна. Она была полна, аж чвыркало, як шпунт забывали. А правда, я так говорил? - обратился шинкарь к понятым.

- Та що тут выляты? - начал староста.- Сознайся - и делу конец.

- Як то сознайся? В чем сознайся?

- В там, что развел горилку.

Еврей начал клясться, призывая на свою голову и на всю семью свою всевозможные несчастья, если он хоть прикасался к

бочке какою-либо посудой с водою. Чиновник призадумался. Злоупотребление очевидно, но шинкарь так страшно клянется! И притом, как он ухитрился рассиропить вино в запечатанной бочке? Всем известно, что крестьяне, транспортируя вино, иногда сбивают обруч, просверливают маленькую дырочку и сосут соломинкою; потом дырочку затыкают или заклеивают и снова набивают обруч. Не подобным ли образом поступил и еврей? Нет. Его бочка была кована и окрашена. Если бы какой-либо обруч был тронут, то остался бы след. Но при осмотре бочки подобного следа не найдено, и все признали, что обручи со времени окраски стоят на одних и тех же местах. Осмотрели и втулку. Она сделана была аккуратно и как раз впору, след[овательно], и не этим путем вошла вода в бочку.

- Говорю вам,- начал шинкарь, что развели в подвале, когда я выходил на двор. Мне стало дурно: я не привык, я вышел подышать свежим воздухом, они этим воспользовались и, надобравши два ведра водки, влили два ведра воды.

- Что ты ни говори, а я не верю,- сказал чиновник.- Какая кому польза разводить вино в чужой бочке? А вы как думаете,- спросил он понятых.- Кто рассиропил водку?

- Та вин! - ответили понятые, указывая на шинкаря.

- Прыйде же коза до воза,- сказал им шинкарь,- мекеке! сина дай!

- Не тилькы свитла, що в викни,- заметили понятые.

Чиновник принялся писать акт.

- Как тебя звать? - спросил он шинкаря.

- Меня никак не звать,- ответил шинкарь.

- Это что за новость?

- Новость? ну-у? Я забыл, как меня звать. Я непомнящий.

- Как его звать? - спросил чиновник старосту.

- Мы зовем Марком - впрочем, кто его знает.

- Приказчиье свидетельство есть? - обратился чиновник к шинкарю.

- Есть,- ответил он.

- Подай сюда,- сказал чиновник, надеясь узнать имя и фамилию сидельца из этого документа. Но, увы, свидетельство было

безыменное,- на шинок.

- Говори дело,- сказал тогда чиновник.- Все равно узнаю от владельца шинка. Тогда будет хуже.

- Чего вы привязались? - закричал еврей.- Чего вам от меня хочется? Трех рублей? Взятки? Нема взятки.

Чиновник молчал.

- Сумасшедший! - вмешался староста,- опомнись! Будто никому неизвестно, кто берет, а кто нет. Только рот роззяв, то так и заткну отсим-о! - сказал он, показывая кулак.

Чиновник молча писал акт.

- Ваше б[лагороди]е! - сказал еврей.- Напишите и то, что пьяный староста хотел меня бить.

- Бодай ты так хлиб ив, як я горилку пыв! - сказал староста.

- Вин ии зроду не пыв и не знае, який смак,- сказал и один из понятых, и еврей замолчал.

Акт, наконец, был написан и подписан всеми, кроме шинкаря, который употребил последнюю хитрость - сказался неграмотным. Затем чиновник сделал расчет, сколько и какой крепости надо добавить спирту, чтобы сдобрить разбавленное вино и, запретивши продажу до сдобрения, отправился в волость. Вслед за чиновником отправился шинкарь на завод за спиртом.

II

От шинка до завода было верст пятнадцать, а потому еврей имел достаточно времени, чтобы сделать расчет дорогою. «По всей вероятности, мне,- думал он,- не избежать штрафа, но я наверстаю свои семь с половиною. Если и волью два ведра воды, то, продавая по четыре копейки восьмушку, не только ворочу свое, но еще заработаю пятьдесят копеек. Только на двенадцать ведер мало два. Я волью четыре, волью шесть. Пусть гой³⁷ пьет помои! На то он хохол, на то он хам. А что отолю, то продам за спирт».

37 - Гой в устах еврея то же, что гяур у турок.

Когда еврей делал такой расчет, чиновник изыскивал способ выведать его тайну.

- Как вы думаете? - спросил он старосту.- Удастся ли узнать, каким образом еврей вливает воду?

- И не такие тайны узнавали люди,- ответил спрошенный.- Впрочем, кто его знает. Нужно много времени и терпения. Через наймычку разве?

- Едва ли. Едва ли он до того прост, чтобы не скрываться от прислуги. Может быть, и дети ничего не знают, не только наймычка. А вот нет ли у вас такого мастера, который бы умел притвориться пьяным.

- Хиба Андрий? - обратился староста к понятным.

- Лучше его никто не сумеет,- ответили они.

- Пригласите же Андрея,- попросил чиновник.

Староста послал за Андреем, и он вскоре пришел.

- Ну, Андрей,- начал чиновник,- говорят, ты мастер притворяться пьяным. Покажи-ка свое искусство, я дам на водку.

Андрей не соглашался, думая, что над ним хотят потешиться.

- Видишь, любезный,- начал уговаривать чиновник,- я прошу тебя об этом не для забавы.

- Эге, не для забавы,- подтвердил староста.

- Мне хочется,- продолжал чиновник,- выведать, как ваш шинкарь льет воду в запечатанную бочку.

- А льет, проклятый, ей-богу, льет,- сказал староста.

- Мы с старостою и с добрыми людьми все передумали,- продолжал чиновник,- и никак не доберемся ладу; так сослужи службу. Я тебе заплачу.

- А сослужи, сослужи,- сказали все.

- Що дасте? - спросил Андрей.

- Карбованця дам,- ответил чиновник.

- Буде з тебе, буде,- сказал староста.

- Згода,- сказал Андрей и в то же мгновение притворился пьяным. Если бы это случилось не на глазах всех, то можно бы держать пари, что он не только упился, но и перепился. И побагровел, и икотка взялась откуда-то, и так глупо смотрел, как смотрят только пьяные до бессознательности.

- Молодец,- сказал чиновник.- Так вот что ты сделай...

- В сборе не поется,- перебил староста и выслал всех из комнаты.- Теперь *хата покрышка*,- сказал он.- А где много нянек, там дитя без головы. За себя ручаюсь, что не выдам, а болото не без жабы.

- Правда,- сказал чиновник и продолжал.- Так слушай! Андрей! Шинкарь поехал за спиртом. Наблюдай, когда он воротится, и войди в шинок, притворившись немного пьяным, выпей водки, а затем прикинься таким, каким мы тебя здесь видели. Дальше делай, как найдешь лучшим, только бы увидеть, как шинкарь будет разводить водку. Староста же распечатает бочку, чтобы влить в нее спирт, а потом снова запечатает ее.

- Добре,- сказал Андрей.- Разве не будут разводить, чтобы я не увидел, как он это делает.

- Смотри же! - сказал чиновник, дал полтину, не в счет условленного рубля, и уехал.

III

Ночь. В шинке вокруг стола несколько душ крестьян весело разговаривают. Между ними сидит Андрей, шатаясь.

- Жиде! горилки! - крикнул он.- Теперь добра, варт выпиты, спасыби акцизному. О! велике спасыби.

- Велыке, велыке,- подтвердили остальные.

- Ще раз подякуйте,- сказал шинкарь и спросил Андрея.- Тебе сколько?

- Цилого пив-ока!

Налил еврей полштофа и поставил на стол. Выпили гости по рюмке, по другой, и водки как не бывало. Явился другой полштоф за счет другого, потом третий. Пьют люди да благодарят акцизного. Наконец Андрей начал отказываться от рюмки: «Спасыби, дякуваты, я вже й так пьяный».

- Ми твою пыли, пый и нашу.

Андрей взял рюмку, колышется, разливает водку.

- Не розливай! сего куры не вызбирають.

Андрей выпил, закашлялся, упал на лавку и тотчас захрапел. Остальные допили водку без него и разошлись по домам.

- Андрию! Андрию! - принялся тогда еврей будить.- Пора й тоби додому. Андрию!

Андрей замычал.

- Ну-у! Андрию!

Андрей опять замычал. Шинкарь начал дергать его за рукав: «Вставай та додому йды! - говорит.- Чуеш?» Андрей пробормотал несколько несвязных слов и опять начал храпеть. Тогда шинкарь поднес свечу, посмотрел пьяному в лицо, заглянул под стол, под лавку и принялся за дело. Заперши дверь, заслонивши окна, он прежде всего наточил из бочки в бочонок ведра три водки, затем, с помощью жены и детей, приподнял рычагом бочку краном несколько вгору и подпер ее. Когда бочка была поставлена таким образом, шинкарка вынесла из другой комнаты большой вычищенный воловий пузырь. Шинкарь наполнил его водою, надел шейкою на кран и начал укреплять толстою ниткой.

- Что из этого выйдет? - спрашивал себя Андрей, и смотря на действия шинкаря. Наконец пузырь прикреплен. Тогда шинкарь, отвернувши кран, начал нажимать его.

- Я дывлюсь,- рассказывал впоследствии Андрей,- дывлюсь та слухаю, а в бочци аж хропе. Як жид нажме, то вона так и закле-коче.

Несколько раз повторил шинкарь эту операцию, потом, постукавши в дно бочки и угнавши по звуку, что она полна, бросил пузырь и принялся спускать бочку. Через несколько минут все было кончено, пузырь припрятан и свеча потушена.

«Бисова невира! - подумал Андрей.- Бач, що, прокляте, выдумало! Та й дыво, що не могли догадаться!.. Кому таке в голову прыйде?»

Задача исполнена: Андрей увидел, как еврей льет воду в запечатанную бочку, и ему более нечего было оставаться в шинке. Но не зная, что сделает чиновник дальше, он взялся играть свою роль до конца.

- Жинко! жинко! - начал звать Андрей.

- Ну-у? Що там жинкаеш? - откликнулся шинкарь.

- А де я? - спросил Андрей, будто в самом деле не зная, где.
- Ну-у? де? В шинку.
- То дай же горилки, коли таке.
- А скильки тоби, щоб дурно не вставаты?
- Давай чвертку.

Шинкарь засветил и приступил к бочке.

- З барыла, з барыла,- сказал Андрей.
- То спирт,- заметил шинкарь,- двумя копейками дороже.
- Давай, давай,- сказал Андрей,- заплачу.

Еврей под видом спирта дал той водки, которой наточил из бочки перед рассиропкою. Андрей выпил и думает: «Вот так надувают нашего брата! Ведь в сущности он продает воду, потому что в этом бочонке столько мнимого спирта, сколько впущено пузырем воды в бочку. Дорого же мы покупаем воду!..»

Таким образом тайна шинкаря была открыта, но это ни к чему не послужило, потому что чиновник, нанявший Андрея, дослуживал тогда последние дни. Впрочем, Андреев рубль не пропал. Нанявший и нанятый впоследствии встретились, узнали друг друга и расквитались. Не прошло даром и его открытие. Крестьяне по этому случаю продразнили шинкаря *бурдюхом*³⁸ и своими насмешками выжили его из села.

- Прежде и ты сам не знал, как тебя звать,- говорили они,- а теперь и нам это известно: бурдюх!

- Бурдюх! Ну-у! А ты свиняче вухо,- отгрызался еврей.

- Се брехня, а що ты бурдюх, то правда. Спасыби тому акцызному! Без його карбованця мы б и доси не знали, що в нас шинкуе бурдюх, а не жид.

- Подякуй ище раз.

- Ище раз: спасыби!

- А де вин тепер?

- Де б не був, а нехай йому бог дае з росы и з воды. Щоб у його так всего було повно, як налитый бурдюх.

- Что ж сделалось с актом? - спросит читатель. Полиция постановила: «По ненахождению в с[еле] еврея Непомнящего, дело прекратить». И она права, потому что, действительно, не было

38 - Бурдюх - пузырь.

Непомнящего, а был только не хотевший открыть свою фамилию и сказавшийся непомнящим. Помощник так было и написал; но нашелся господин, который поправил *грамматическую ошибку*, т. е. н на Н, и спас виновного от ответственности.

ЖЕБРАКИ

Очерк из быта подольских компрачикосов³⁹

Вспомним то не очень далекое время, когда нищие Подольской губернии, или, по местному выражению, *жебраки*, группировались в два цеха - «сатановский», от м[естечка] Сатановки, где-то возле границы, и «поташнянский», от с[ела] Поташной Гайсинского уезда. Тогда нищие были не то, что они теперь. Правда, и теперь они не отличаются нравственностью и не все неспособны к труду, и теперь между выпрашивающими «хоть копеечку на пропитание» есть владельцы двухэтажных домов; все же теперешние нищие не то. Прежде это были преимущественно бродяги всех родов: военные дезертиры, беглые ссыльные, арестанты, ушедшие из тюрьмы, крестьяне, бежавшие от пана, дети, бежавшие от родителей, мужья от жен, жены от мужей - словом, все, кто почему-либо не мог оставаться на месте жительства. Разбой, воровство, святотатство, кощунство, самый гнусный разврат, самое постыдное глумление в лесах и ярах над собранным в жилых местах подаянием - были обыкновенными их занятиями. Двигаясь толпами, они останавливались табором, как цыгане, и когда одни молили в селах о подаянии, оставшиеся в таборе неистовствовали. Не довольствуясь своими, они насиловали попадавшихся женщин - замужних, девиц и даже детей. Дороги вблизи таких таборов зарастали бурьяном; кроме самих нищих, никто не смел ни пройти, ни проехать по ним. Итак, вспомним это не очень далекое время.

I

Жили в одном селе два богатых шляхтича. У одного из них

39 - Компрачикосы - уродователи детей в Англии, известные действующие лица в последнем романе Виктора Гюго «L'homme, qui rit».

был единственный сын, у другого - единственная дочь. По давнему обычаю, впрочем и теперь не совсем вышедшему из употребления, родители заранее уговаривались соединить своих детей узами брака.

- Что ж, коханю! - говорил один,- мой сын богат и *статок*, твоя дочь будет панна хоть куда; чем они один другой не пара? Обвенчаем их и соединим в одних руках достатки нас обоих.

- Так, коханю, так,- говорил другой,- соединим достатки нас обоих. Только сами с чем останемся?

- Мы-то? Долго ли нам осталось жить на свете? Не сегодня-завтра, того и гляди, смерть подкосит.

- Так, коханю, так. Не сегодня-завтра смерть подкосит. Тогда для нас нужно будет четыре доски да три локтя земли.

Дети еще оба были несовершеннолетними, когда родители условились таким образом. И когда старые, называя друг друга сватом, пили за здоровье будущих новобрачных, наслаждаясь наливками и настойками, молодые наслаждались объятиями и поцелуями, прислушиваясь, как сердце млеет. Так прошел не один год. Богатство более и более увеличивалось, дети приближались к совершеннолетию, как старики к могиле; наконец и свадьба была сыграна.

- Ура! - кричал свекор.

- Ура! - кричал тесть.

- Ура! - подхватила вся честная компания.

II

Шесть лет спустя после свадьбы сидели сваты за рюмкою.

- Что с того, что наши дети побрались? - говорил свекор.- Думалось соединить достатки в одних руках, они и соединились; но что с того? Не поодиночке, а оба разом пойдут за ветром по смерти детей наших! Не дает им господь бог потомства, а нам внуков!

- Так, коханю, так! - говорил тесть.- Разом пойдут за ветром, потому что господь бог не дает потомства детям нашим, а нам

внуков.

Молодые до этой поры успели побывать у всех известных знахарей, но напрасно опивались получаемой от них бурдой. На что Стельмашка в Лукашевке или Сёмашко⁴⁰ в Паланке, и те ничего не пособили. Обращались и к ворожкам, и к Ивасю-вещуну⁴¹ - напрасно! И в Киеве она мощи колыхала, и чего не делала, кого не спрашивала! Однако детей нет как нет. Прошло еще несколько лет отчаяния. Старики тем временем раскутились с горя, и оба померли; молодые занимались хозяйством небрежно, только *відпусти*⁴² смотрели, и богатство начало упадать. Тогда, наконец, бог послал им дочку, и не было конца радости. А так как это случилось после поклонения чудотворной иконе божией матери в -ском монастыре, то счастливые родители на радостях дали обет ежегодно ходить туда на *відпуст* до совершеннолетия дитяти. И аккуратно исполняли они данный обет. Дитя между тем росло, наливалось, как пшеничный колос; щечки алели, как созревающая вишня. Друзья радовались, соседи завидовали, враги досадовали - особенно те, кто облизывался, ожидая наследства.

Уже шел дитяти пятый годок - разумеется, оно уже ходило и говорило,- когда набожные родители, по обету, приехали на *відпуст*, по-прежнему взявши и дитя с собою. На этот раз отправилась с ними и их тетушка, вышедшая замуж за одного эконома и потому изо всей силы корчившая барыню. Она уже имела в виду даже имение, которое рассчитывала купить на ожидаемое после племянников наследство. Понятно, что рождение у них дочери было для нее страшным ударом. Тем не менее она ласкалась к ним, ласкала дитя, возила ему гостинцы и теперь целую дорогу не спускала с рук.

- Какое хорошенькое! Какое умненькое дитятко! - приговаривала она, целуя.- Не такое, как мои балбесы. Посылает же бог людям счастье!

40 - Стельмашка и Сёмашко - прославившиеся знахари.

41 - Безрукий и безногий калека от рождения, предсказывавший будущее и дававший разные советы.

42 - День чудотворной иконы.

- А сколько я ждала, сколько молилась, прежде чем дождалась этого счастья! - сказала счастливая мать.

- Я бы согласилась еще столько молиться, еще столько ждать,- сказала тетушка,- только бы вымолить, выждать такого купидончика. Это будет красавица на весь свет! - воскликнула она. И опять поцелуи, и опять нежности.

От такой похвалы, от таких ласк у матери сердце таяло. И как искренно она благодарила пресвятую деву за ниспосланную милость, как усердно молилась, чтобы ее заступничеством дитя росло и цвело, как мак! Вот и исповедались родители, сами причастились и дитятко причастили, еще раз поклонились чудотворной иконе - и пора домой; оставалось раздать милостыню.

- Присмотрите, тети, за малюткою,- просит мать,- мы пойдем к жебракам.

- Довольно и того, что я нянчилась всю дорогу,- ответила тетушка,- баста! Смотрите сами. Впрочем, я буду наблюдать, если что не помешает. Во всяком случае слова не даю.

Изумленная мать поручила дитя наймиту, который в то же время должен был готовить лошадей, и отошла от повозки.

- Сиди же, мамочка, здесь,- сказала она дочери,- никуда не ходи; а мы с татком раздадим *старцам* милостыню и тотчас воротимся.

- Я буду сидеть здесь, на повозке,- ответило дитя,- и никуда не пойду.

- Куда ему ходить? - вмешался отец.- Оно и не слезет.

- И то правда,- сказала мать и, давши дочери вязанку бубликов, пошла с мужем исполнить последний долг: дать по *шажку* нищим. Обложенные торбами, они сидели двумя длинными рядами. Одни читали акафисты, другие пели *псалми*, играя на лире, третьи просто вымаливали подаяние. Но были между ними молчаливые. Это были страшно изуродованные калеки, с вывороченными ногами, выкрученными руками, с искривленными шеями, без щек, только зубы видно да язык, без глаз, без носа. Ужасное зрелище! Эти несчастные хотя и не все могли говорить, но все молчали. Их и без благаний наделяли - кто из жалости, кто из страха. Щедрые и нещедрые молодницы спешили дать и сдачи не

просили, только бы скорее отвернуться.

«Боже наш милостивый! - думала наша шляхтянка,- зачем ты держишь этих несчастных на свете? Им ли самим в поругание, родителям ли в наказание, грешникам ли на страх? Как несчастны матери этих уродов!»

Тут она вспомнила свою малютку и была еще счастливее от сравнения ее красоты с чужим безобразием и калечеством. Но, увы, куда закатилась эта зоречка ясная? Воротившись к повозке, муж и жена нашли все в целости, даже на своем месте лежал платок, которым было окутано дитя, и вязанка бубликов лежала, из которых один был надкушен; но где те ручки, что их держали? Где те зубки, что их кусали? Где та крошка, что здесь сидела?

- А где дитя? - мать спросила наймита.

- Не знаю,- ответил он,- чи не взяли пані, бо більше нікого не було.

- Вероятно, тетушка взяла,- сказал отец,- где бы ему больше деться?

Но чуткое материно сердце не то говорило: «Пропало дитя!» - твердило оно. И в самом деле, вскоре увидели в толпе тетушку, но без малютки.

- Боже мой! - завопила мать и без ума бросилась в народ. Пошла и тетушка, пошел и отец. Ищут, расспрашивают. Три дня прошло в поисках. И *викликали*,⁴³ и все; но напрасно; никто не видел, никто не слышал, никто ни-чего сообщить не мог.

- Було ж тобі лучче не родитися, як не дати на себе й надивитися! - вопила несчастная мать.- Дитятко мое! Ангелятко мое! Де ж ти в бога обертаєшся, що до мами не вертаєшся! Де тебе шукати? Де тебе питати?

Толпа начала редеть, место пустеть, где-где только стоит повозка да пара-другая лошадей. Кругом все видно, дети бегают, но между ними нет пропавшего. Наконец, и последние отправились

43 - Обычай *викликати* существует до сих пор. Он состоит в том, что умелый человек в многолюдном собрании народа, например на ярмарке, станет на возу, поднимет шапку и кричит, призывая слушателей. Когда соберется толпа, тогда он объявляет то, о чем *выкликает*, например, о пропаже чего-либо, о надобности какой-либо и т. д. Такой глашатай называется *кликун*.

по домам.

- Нечего делать,- сказал тогда отец,- пора и нам. Найму людей, разошлю во все стороны, пусть ищут; а здесь нечего оставаться.

- Наймай, соколе! Наймай, голубе! Якнайбільш наймай! - умоляла жена.- Якнайбільш, якнайхучче! А всетаки і я піду. Буду ходити, буду блудити, людей питати, бога благати, поки не знайду своєї дочечки, своєї любої...

Как ни уговаривал муж, как ни усовещивал, но она ничего и слушать не хотела.

- Бог в помощь! Иди! - сказал, наконец, муж, давая деньги на дорогу.

И она немедленно отправилась в одну сторону. Вторым пошел наймит, здоровенный парень, в другую сторону. Третьим и последним отправился шляхтич,- один, домой, в третью сторону...

III

Монастырь, где был отпуст, во время которого пропало дитя, стоит в густом дубовом лесу, прорезанном долинами в разных направлениях. В долинах встречаются роскошные поляны, нередко с небольшими рыбными озерами; во многих местах попадаются прекрасные ключи, и везде много диких черешен. Как по причине этих удобств, так и вследствие близости монастыря, нищие любили долго стоять здесь табором. Оттого народная фантазия наполнила лес потерчатами,⁴⁴ блудом⁴⁵ и разными нечистыми духами. Потерчата звали матерей, блуд водил прохожих по целым ночам вокруг своей могилы, нечистые издавали разные звуки, соблазняя неопытных подражать им, и потом вытягивали душу. Благодаря этому обстоятельству даже отважный мужчина

44 - Потерча - дитя, родившееся мертвым или умершее некрещенным.

45 - Блуд - душа человека, умершего насильственной смертью, также самоубийцы.

не входил в этот лес не перекрестившись, и без крайней нужды никто не углублялся в чащу даже днем. Но никакой страх, никакая опасность не могли удержать матери, искавшей своего дитяти. Прошедши верст двадцать в одну сторону и не получив никакого известия, она решилась переменить направление и снова начать поиски от монастыря. Возвращаться дорогою было далеко, а время было дорого, потому она отправилась лесом *навпростець*. Заблудиться она не боялась, потому что по ветвям, по мху на деревьях умела отличить север, следовательно и остальные страны света. Сообразивши, где должен быть монастырь, она безбоязненно поворотила в лес и смело пошла вперед. Любовь к дочери придавала несчастной матери мужество и силу; возможность отыскать любимое, единственное дитя заглушила все инстинкты. Сначала она плакала, но наконец, когда иссякли слезы, пошла молча, мысленно нашептывая молитвы. В лесу же было тихо, только изредка раздавался стук дятла, разносимый эхом, вспархивал испуганный кос или проскользала убегавшая змея. А грибов-то, грибов! Боже мой!.. Хоть граблями гребь. Но до них ли было той, которая отдала бы жизнь, только отыскать свою малютку?

До монастыря оставалось еще верст пять, когда совсем смерклось и небо подернулось тучами. Молния сверкала беспрерывно, и гром грохотал безостановочно. Вдруг заколыхались, зашумели верхушки леса, и стал дождь накрапывать. «Что тут делать? - думала шляхтянка. - Надо ночевать в лесу». И привычному к подобного рода ночлегам было бы не совсем спокойно в этом лесу, а непривычному, тем более женщине, как не струсить? Но делать нечего, надо ночевать. Вот и взобралась она на роскошную липу, привязалась платком к ветви и сидит, ни живая ни мертвая от страха. Только материнская любовь не допустила ее до сумасшествия. Но, о ужас! Среди раскатов грома пронесся детский визг.

«Пресвятая богородица! Потерча!» - подумала шляхтянка и притаила дух, не смея ни думать, ни молиться.

- Ножка!.. мама!.. болит!.. ай-ай-ай!.. ножка! ножка! но...- И замер детский крик...

Зашумело у бедной матери в ушах, закружилась голова, и она более не слыхала раскатов грома, ни шума падавшего дождя и не видела сверканья молнии. Помутившееся сознание повторяло слышанный крик, и голос казался знакомым, но в голове был страшный беспорядок. Силы, наконец, оставили несчастную, и не привяжись она к дереву, то давно бы лежала на земле; когда же пришла в себя, то уже не было грозы; на востоке багровело небо, и густой туман стлался по земле.

- Господи, спаси меня и помилуй! - помолилась шляхтянка и хотя тотчас же отвязалась, но не скоро отважилась сойти па землю. И не прежде сделала это, как надававши новых обетов, если бог благополучно выведет из леса. Возбужденное вчера слышанным криком воображение в шуме падавших с деревьев капель рисовало шаги приближавшегося потерчаты и ствол каждого дерева обращало в *маняку*.⁴⁶ Однако материнское чувство взяло перевес над трусостью, и она сошла с дерева и пошла вперед, радуясь, что по мокрому листу не шелестят ноги. Вдруг почва начала склоняться - и вот открылась долина, полная густого тумана.

- Господи, перенеси меня! - помолилась шедшая и быстро двинулась вперед, постоянно осматриваясь и прислушиваясь. Уже она поднималась на противоположную гору, когда в стороне послышался глухой говор. Вблизи не было ни дороги, ни жилья. Путница наша, лет двенадцать подряд бывавшая в монастыре на отпусках, знала это очень хорошо, потому подумала: «Недобрые это люди говорят», - и прибавила шаг. Но вот она уже выше тумана и снова вступает в лес. Какое-то непреодолимое чувство - не то любопытство, не то беспокойство - заставило ее оглянуться. В долине стоял туман, где извиваясь кудрями, где расстилаясь гладкою массой, где поднимаясь в гору, как петуший гребень. Едва она увидела все это, как вдали началось особенное движение: туман заколыхался, закружился и быстро пошел к небу. Еще мгновение и в том месте зарделся огонь, затем показались верхушки шатров, далее - лошади, повозки, наконец видно стало и макушки нескольких человек, двигавшихся в тумане.

- Боже мой! Нищие! - чуть не вскрикнула наблюдавшая и по-

46 - Маняка - почти то же, что и привидение.

бежала со всех ног.

Восход солнца застал ее в лесу по сю сторону монастыря, а наступивший вечер провела она верст за пятнадцать по ту его сторону.

IV

Наймита застигла та же гроза и также в лесу, но совсем в другом положении. Хотя невесела была причина путешествия, но шлось весело. Парень то песни пел, то черешни ел, то отдыхал, валялся на траве, вполне счастливый собою. К вечеру он дошел до только что выстроенной, впрочем еще не занятой, избы и остался здесь ночевать. Сначала он хотел избрать для этого пол, потом печь, наконец взобрался на чердак. «Бог его знает, какие еще люди могут зайти сюда же,- думал он,- после відпусту всякий народ шляется. Пожалуй, еще зарежут».

Взобравшись на чердак, он лежал в приятном полузабвении. Запах свежей соломы напоминал клуню, копны; шум леса приводил на память ночлеги возле лошадей. Грезился огонь и товарищи, песни и шутки. Отдаленная гроза навевала новые грезы. Вдруг раздался скрип двери, и парень опомнился.

- Хоч і сліпий, а якраз попав,- начался разговор в сенях.

- Та я куда раз пройду, то усі ямочки знаю,- сказал другой из вошедших.

«Слепцы»,- подумал парень и начал вслушиваться.

- Перед відпустом мы тут кашу варили,- продолжал первый,- тогда между нами были зрячие.

- А я здесь никогда не бывал,- сказал второй.

- Отличная каша была! С салом, с луком. Не скоро уже буду есть такую кашу! А может быть, и никогда не удастся!

- Это почему?

- Уже нет той кухарки.

- Ушла?

- Нет, ослепили.

- Прошпетилась? - спросил второй.

- И да и нет,- ответил первый.- Ее любили два *старці* - один знатный, в *цехмістри* метит, а другой так себе - ни се ни то, недавно приставший к табору, из беглых солдат. Полюбили оба, и каждый хочет взять себе; не помирятся, не поделятся. Вот и сдались на ее суд: кого сама выберет, тому и достанется. Первый думал, что она польстится на знатность, но она избрала молодого. «Почему же не меня?» - спросил отвергнутый. «Бо ти старий та поганий», - ответила девка. «Ты как знаешь?» - «Вижу, потому и знаю».- «Так не будешь больше видеть», - сказал обиженный и, улучив время, когда *її коханого* не было, выколол глаза среди табора. Оно бы и не следовало, но уж он такой *завзятий*... Славный будет *цехмістер*! - заключил говоривший и спросил: - А ты сам ослеп?

- Я сам - от оспы. А ты?

- Я не сам. Меня ослепили. Я был поводырем, когда *старці* украли дитя - такое хорошенькое! Украли, думаю, так украли! Пусть себе. Но когда я узнал, что малютку хотят искалечить, чтобы возбуждать больше сострадания, то решился ее спасти. Для этого бежал из табора и дал знать в село. Люди отняли дитя вовремя, а *старці* поймали меня и помстились: «Не будешь, говорят, видеть дороги - не будешь и бегать с доносами». Еще хотели и язык вырезать, да забыли, что ли, а глаза *висолили*. Да, больно было!

«Не в таких ли руках и наша паняночка?» - подумал парень и начал вслушиваться в разговор еще с большим вниманием. Долго, то с негодованием, то с омерзением, слушал он разные рассказы о различных подвигах, пока, наконец, разразившаяся гроза не прервала разговор.

- А мабуть, здорово блискає! - сказал ослепший от оспы.

- Авжеж,- сказал ослепленный.

- Та й гримає ж!

- Не одного чортяку приголомшить.

- Я думаю.

Больше они уже не говорили, и парень вскоре уснул. Когда же он проснулся, то солнце было уже высоко. Первое, что вошло ему на ум, были вчерашние нищие. «Здесь ли они еще?» - поду-

мал парень. В это время он услышал вопрос:

- Так у тебя много денег?

- А у тебя? - спросил другой голос.

- У меня будет около гарнца самих червонцев.

- У меня также будет около гарнца и также червонцев.

«Ничего,- подумал парень,- хорошие нищие!»

- А ну, покажи,- сказал далее один нищий.

- А ты свои покажешь? - спросил другой.

- Покажу.

- Покажи, то й я покажу.

«Що буде, то буде»,- подумал парень, быстро снял с себя пояс, перекинул его через балку и тихонько спустился на землю. Вошедши в комнату, которая была еще без двери, он увидел, что нищие стоят один против другого и каждый держит по узлу в руках.

- Так, у тебя больше,- говорит один из них.

- Да, мой тяжелее,- сказал другой.

«Я вас обоих облегчу»,- подумал парень.

- Ну, на! - продолжал нищий, подавая товарищу узел.

- Давай,- продолжал другой.

Парень протянул руку, но не успел в своем намерении, потому что каждый из нищих не прежде выпустил из рук узел, как получивши другой. «Подождем»,- подумал парень, не трогаясь с места.

- Как ты думаешь, день уже или еще ночь? - спросил затем один нищий.- Ни петуха не слышно, ничего; такая здесь глушь.

- погоди, выйду на двор. Если греет, то день,- ответил спрошенный, укладывая свой узел в торбу.

«Это наш»,- подумал парень, и, как только нищий отошел, он вынул червонцы и снова стал. Другой нищий в это время начал баловаться своим узлом: бросит его вверх и ловит, как мяч. Бросая, он приговаривал: «Се тобі, боже!» - а поймавши, произносил: «Се мені, боже!»

«И это наш»,- подумал парень, и, когда нищий подбросил узел, он схватил его на лету.

- «Тобі, боже!» есть, а «мені, боже!» де? - спрашивал сам себя нищий, стоя с растопыренными руками.- Не жартуй, боже! від-

дай, бо то не твоє.

Прождавши несколько секунд, он во все горло начал звать товарища.

- Йду, йду! - откликнулся тот.

- Йду, йду! - передразнил его звавший.- Будто ты и в самом деле на дворе был! Отдай мне червонцы!

- Я не брал.

- Как не брал? Врешь. Отдай!

Вскоре они вцепились друг другу в бороды. Парень тем временем тихонько вышел из комнаты, разом отворил дверь и стрелою помчался вперед.

- Хтось був! - вскрикнули дравшиеся, услышавши скрип двери, и бросились в погоню; но второпях натыкались один на другого, стукались лбами об стенки и, наконец, один сел, другой начал рыться у себя в торбе.- И моих нема! - воскликнул он, наконец.

- Слава богу! не будешь с меня смеяться,- сказал сидевший.

Слово за слово - они разбранились и, еще подравшись, отправились в разные стороны.

V

Три года прошло с тех пор, но о дитяти не было ни малейшего слуху. И по ярмаркам *викликали*, и по *відпустам*, но все напрасно. Тем не менее поиски не прекращались. Особенно старалась мать. Она не знала ни отдыха, ни утомления, ни сна, ни покоя; проникала всюду, куда только вела какая-нибудь молва; нашла несколько чужих детей, которых имели обыкновение увозить некоторые из мелких помещиков и записывать в свои крепостные, но своего собственного дитяти нигде не находила.

- Полно хлопотать,- советовали соседи,- вероятно, заблудилось в лесу, и волки съели.

- Не перестану хлопотать,- отвечала несчастная мать,- не перестану, пока не узнаю досконально, что моего дитятки, моего голубятки нет в живых. Я не буду иметь сил держаться дома,

пока будет оставаться хоть малейшее сомнение в его смерти, пока буду питать хоть малейшую надежду на отыскание своей крошечки. Буду ходить всю жизнь и только из гроба не встану для поисков.

Не было местечка, не было села, ни монастыря, ни церкви, ни каплички, куда стекается народ, где бы она не была по нескольку раз. Ни хозяйство не занимало ее, ни муж, ни родня; одна мысль была в голове, и другой цели не было, кроме отыскания дочери.

- Обратитесь к нищим,- посоветовал кто-то,- они всюду шляются; авось узнаете что-либо.

- Спрашивала я у нищих, спрашивала и у солдат, спрашивала у купцов, у цыган, у коробейников и у извозчиков, но все напрасно. Если бог не поможет, то никто не поможет,- ответила неутешная мать и пошла на *відпуст* с новым обетом, пешком и босая.

Было огромное стечение богомольцев на этом *відпусті* и, по обыкновению, длинные ряды нищих. Шляхтянка уже не нанимала *кликуну*, а обратилась к богу. На него одного полагалась она и молилась со слезами, чтобы он помог узнать по крайней мере, живо ли пропавшее дитя. Помолившись, вышла она из церкви и встретила тетушку на паперти.

- А что? нет? - спросила эта.

- Никакого следа.

Подобные вопросы предлагали и разные другие лица, успевшие познакомиться с несчастного матерью во время ее странствований. Как обыкновенно бывает, собралась большая куча любопытных, расспрашивают, слушают с участием, но больше ничего. С разбитым сердцем отсюда пошла несчастная раздавать милостыню, сопровождаемая большою толпою сострадательных людей. По-всегдашнему, между нищими встречались разные калеки - и уроды безрукие, безногие, косые, слепые, старые, молодые, дети, мужчины и женщины. Каждому подавала она, но особенно старалась не прозевать дитяти: «Молитва невинного взойдет ко господу, и он возвратит мою дочечку», - думала несчастная. Так дошла она до уродливой безрукой старухи, и запряженной в маленькую повозочку:

- И моей калеке, Христа ради! - взмолилась нищая.

Шляхтянка положила *шажок* в повозочку. В этой повозочке сидела девочка. Руки ее были страшно выкручены, ноги высматривали из-за плечей, шея свернута; но личико у несчастной калеки было очень привлекательно. Целая толпа невольно остановилась перед нею

- Бедное, несчастное дитяtko! - сказала шляхтянка и дала копейку.

Калека посмотрела на подающую и говорит:

- Дайте, мамо, больше; от этого не обеднеете.

Шляхтянка вздрогнула, услышавши этот голос. Может быть, ее поразило слово «мама», которым никто не называл ее уже три года? Может быть, такое страшное калечество?

- *Цить, бо задушу, як гадину!* - крикнула старуха.

Толпа между тем росла все более, шляхтянка все внимательнее всматривалась в лицо калеки.

- Чи ти не моя Галочка? - спросила она, наконец.

- Я, мама,- ответило дитя.

Мать взвизгнула и упала без чувств. Мгновенно воскресла в ее памяти ночь на липе, в грозу, и слышанный тогда детский крик. Как молния, явилась мысль: «Это я твой голос слыхала! Это тогда у тебя в самом деле ножка болела!» Явилась, как молния, и поразила, как гром. Засуетилась толпа, заревела и бросилась на нищих. По указанию дитяти нашли всех - кто ноги ломал, кто руки крутил, кто шею свернул, кто помогал, кто одобрял,- и кого просто растерзали, кого убили, кого повесили. Остервенение, убийства прекратились только тогда, когда игумен с монахами в полном облачении вмешался в толпу. Во время суматохи несчастная мать, нашедшая свое дитя, несколько раз приходила в чувство и тотчас же снова падала в обморок. Когда же она в последний раз очнулась, то была уже сумасшедшею.

- Моя бабушка, мамина тетя, меня отдала нищим,- сказала девочка на вопрос игумена о том, кто ее похитил.

Эта бабушка, эта мамина тетя, наблюдавшая за всем издали, видя, что озлобленный народ кинулся искать ее, сама ретировалась на тот свет: поспешила повеситься. Но прошло около меся-

ца, прежде нежели сумасшедшую мать и изуродованную дочку отдали мужу и отцу. Дитя не знало, откуда оно родом, а мать плясала и твердила только одно слово: «Нашла». Надо было ждать, пока молва сама призовет отца. Так и случилось. Шляхтич приехал и забрал обеих, и много, много лет страдал, смотря на помешанную жену и на искалеченную дочь. Наконец, жена, танцующая на льду, попала в прорубь и утонула, а дочь приютилась в какой-то женский монастырь, в пользу которого отец ее, умирая, отдал все свое имение как приданое дочери своей.

Чужим несчастьем воспользовался лучше всех наймит. Он выкупился из крепостного состояния и зажил припеваючи.

«ХОЧ З МОСТУ ТА В ВОДУ»

Кому горе - горе, а чиновникам, занимающим маленькие места, чуть ли не плоше всех. Нужда гнетет, служба сушит, общество презирает, а между тем они не дикари, чтоб не иметь потребностей образованного человека. Если не многие между ними обладают высоким развитием, зато, без сомнения, все выросли из той поры блаженства, когда люди довольствуются яблоком и ничем не покрывают своей наготы. Им хотелось бы и одеться чистенько, и поесть сытно, и повеселиться, и почитать, и пользоваться уважением, которого заслуживает честный человек. Но всего этого они лишены.

Пусть-таки, думается, пока молод: потужим, послужим и как-нибудь бог поможет. «Не терши, не мнявши, вареників не їсти». И с полною надеждою на лучшее будущее молодой человек не только бодро смотрит в глаза, но еще и мечтает, как приятно потом вспомнит он перенесенные прежде лишения. Тогда будет у него и квартира удобная, и одежда приличная, и значение в обществе, и добрая жена-красавица, и детки-щебетушки. Все будет. Вот и сбывается часть его мечтаний. Он влюбляется в такую же бедную, как сам, и счастлив - женится. Но тут же обрезаются крылья. С женою не поместишься, как с товарищем по службе, в одной комнате среди других лиц; надо нанять квартиру отдельно.

«Выиграем на харчах», - думает молодой муж. Но и тут обрезаются: пришлось содержать двоих на ту же сумму, которой едва хватало и для одного. Впрочем, он не тужит: не век же оставаться при таком скудном содержании; когда-нибудь будем получать и лучшее. Так думает молодой муж, а тем временем нанимается дежурить за товарищей ночью, а по праздникам и днем, с женою же видятся только во время обеда. Жене скучно дома постоянно одной, мужу неприятна постоянная разлука с женой. Но тем усерднее он занимается службою: начальство заметит и повысит. Действительно, начальство заметило и обещает высшую должность. «Скоро будем жить лучше», - мечтают молодые супруги;

но, увы, «казав пан: кожух дам, та слово його тепле», - подвернулся с ученою степенью, и бедняга был оттеснен. По-прежнему он трет локти и дежурствует по найму. В другой раз помешал богач с сильною протекцией, в третий - родственник самого начальника. Плохо дело; затормозили! А между тем осуществилась другая мечта: дал бог дитя. Обрадованный отец берет шубенку и из-под головы не менее обрадованной матери подушку и несет к ростовщику упоенный оказиею, несчастный, он и не воображал, что из жалованья своего не пополнит долга в срок, и заложенные вещи пропали за бесценок. Наступила зима, начались холода; жена плачет и ропщет на мужа, муж сердится на жену и ропщет на службу, на начальство; к физическим страданиям присоединились нравственные. Вот и пошли жить супруги, горе мыкая и из года в год ожидая лучшего и со дня на день подвергаясь худшему. А дети рождаются и растут, вместе с тем увеличиваются и расходы. Вот тебе и детки-щебетушки! вот и жена-красавица! Возраст охладил надежду, опыт раскрыл глаза - и явилось отчаяние: «Хоч з мосту та в воду!»

Не замолчать ли засим?

Без повода мы едва ли предположили бы эту мрачную картину, а теперь не имеем права замолчать и должны кончить. Вот что сообщает «Сын отечества»:⁴⁷

«10-го ноября в 5³/₄ часов утра двое неизвестных, весьма бедно одетых, остановились на середине Николаевского моста и, встав на перила, одновременно кинулись в Неву и утонули».

«По собранным «Вестью»⁴⁸ сведениям, оказывается, что эти несчастные были два бедные чиновника, обремененные большими семействами, которые, не в силах будучи дольше бороться с нуждою, вследствие ежедневно возрастающей в С-П-бурге доро-

47 - «Сын отечества» - політична й літературно-наукова газета, що в 1862-1904 рр. (під різними редакціями, з перервою) виходила у Петербурзі. Була провідником урядової точки зору щодо ліберальних реформ, польського питання тощо.

48 - «Весть» - політична й літературна газета, яка виходила в 1863-1870 рр. у Петербурзі і була органом реакційно-кріпосницької опозиції реформам 60-х років XIX ст.

говизны всех вообще жизненных потребностей, решились разом покончить с жизнью».⁴⁹

Как много горьких дум наводят эти немногие строки! Друзья ли, братья ли были эти несчастные отцы, или соединила их бедность и нужда? Кто из них первый подал мысль «разом покончить» и при каких обстоятельствах? Одни ли лишения виноваты, или примешивалось еще что-нибудь? Во всяком случае, эти несчастливцы, должно быть, были очень близки между собою и, без сомнения, предварительно условились о месте и времени самоубийства, иначе одновременно не «кинулись бы в воду». Да как раненько! Быть может, они вышли из дому не тайком, а разбуженные голодною семьею и пошли на смерть под предлогом занять денег у товарища или сходить на базар, сходить с копейкою туда, где и рублем не обойтись. А в их отсутствие голодные матери утешали не менее голодных деток, что папа скоро придет и хлеба принесет: еще минуточку подождите - и поедите. И малютки усиливаются смеяться, отирая залитые слезами бледные щечки.

Но вот пора на службу, а папа не пришел; пора и со службы, а его все нет. Голод действует, дети плачут, матери беспокоятся; а отцы еще до восхода солнца успокоились навеки, освободивши две вакансии, занять которые уже хлопочет каждый из занимавших низшую должность. «Одна синиця з кільця, а десять на сільце». Как это грустно, боже, боже!

А ведь и Киев не отличается дешевизною; ведь и у нас служат чиновники - отцы семейства, получая копеечное содержание, и цены на все продукты быстро поднимаются. Поневоле призадумашься: что их ждет впереди? Не придется ли и им «разом покончить»? Кстати, и Николаевский мост есть,⁵⁰ и река глубока.

Тем тяжелее на душе, что несчастные самоубийцы, без сомнения, были честные чиновники, потому что взяточник и на самой плохой должности не терпит нужды. А оглянись назад,

49 - 1869 г., № 258.

50 - ...и Николаевский мост есть... - Йдеться про перший у Києві капітальний міст через Дніпро, збудований 1853 р. в районі нинішнього метромосту. Відомий також під назвою Ланцюгового мосту.

сколько надежд! сколько мечтаний! Все рассыпалось в прах, «хоч з мосту та в воду!» Невольно придет на мысль: настолько ли виноваты взяточники, насколько это кажется тем, кому нужда не заглядывала в глаза? Горько жить на свете; а умирать все-таки не хочется.

- Что же делать?

- Выпьем, брат!

- А деньги-то?

- Хлеба не допросишься, а водки даром поднесут, только бы в кабак зашел.

Вот и блестит кокарда в шинке, а босые и голодные детки ждут папашу, не дождутся. Простыл голый борщ, замерзла каша в печке.

- Но ведь и это самоубийство?

- Оно так, но что же делать? Ужели «з мосту та в воду», чтобы «разом покончить» и с нуждою, и с службою, и с жизнью? Одно другого стоит.

ЖЕЛЕЗНЫЙ СУНДУК

(Подольская быль)

Не очень далеко от нас то время, когда во многих тюрьмах южнорусского края содержалось множество грамотных и неграмотных, обвиняемых в распространении фальшивых кредитных билетов, таких же рублевиков и червонцев. Все это были невинные жертвы неопытности с своей стороны и обмана со стороны других. Всунут в руку красненькую, ну и значит десять рублей, а по чем узнать, фальшивый билет или нет? Получатель рад-радехонек, что есть чем подать уплатить, и меняет билет у сборщика, тот передает другому для сдачи в казначейство, а этот уехал в город и домой уже не возвратился. Начинается потеха. Ищут, докапываются, добрались до разменявшего.

- Где взял?

- Що?

- Да ту бумажку, что разменял у сборщика.

- Бумажку? Жид дав на ярмарку за бычка. Я ще четыре рубля ему сдачи дав. Або що?

- Фальшивая.

Мужик глаза вытаращил. Чиновник продолжает: «Подавай свата».

- Де его взяты? Та хибя жидюга так такы й признається?

- Не можеш показать?

- Не могу.

- Сотский! кандалы!

И ни сном, ни духом не виноватый бедняк очутился в тюрьме за распространение фальшивых кредитных билетов, «в каком действии своем сам сознался, сообщника - же своего, от которого получил таковые, упорно сокрывает».

Года через два со дня ареста сборщик и сдатчик получают свободу, чтобы поплакать на своем разоренном хозяйстве - два невинных заменены одним таким же. А виновный смотрит со стороны да на ус себе мотает: поумнели ль мужички? умудри-

лась ли полиция? не надо ли искать другого сбыта? Но по наблюдениям оказывается, что все обстоит благополучно, что не для чего изменять систему. И опять сдатчик попадает, указывает на сборщика, тот на село. Опять ищут, докапываются, опять разорение, тюрьма и новое «дело о распространителе».

I

В такое невеселое время, после одной из летних больших заднепровских ярмарок, выехало из Киева два грека. Срок их заграничным паспортам приближался к концу, отчего иностранцы так спешили, что даже не успели побывать в лавре. Для избежания формальностей по получению подорожной они отправились на балагуле. Бедным людям известны удовольствия, какими наслаждаются путешествующие на измученных балагульских лошадях; но лучше пробыть в дороге несколько лишних дней, нежели провести не меньшее их число в приемной разных присутственных мест и в передней разных официальных лиц, искрестивши город вдоль и поперек. Промедление в дороге услаждается, по крайней мере, частою переменою видов. Это особенно надо сказать о дороге на запад от Киева, по которой отправились греки. При путешествии в этом направлении не успеешь отвести глаз от одной картины, как является другая, третья - одна другой привлекательнее. Должно быть, эти греки были большие любители красот природы, потому что договорили балагулу останавливаться для ночлегов и для корма лошадей под открытым небом, где им понравится, хотя бы то и в расстоянии нескольких верст от прежней стоянки. Еврей сначала упрямылся, но когда посулили ему двойную оплату, то с большим удовольствием согласился, выговоривши себе права шабашовать под кровлею.

На таких-то условиях они отправились из Киева и уже добрались до гористых мест Подольской губернии, а ни разу не останавливались иначе как в лесах или на лугах, всегда избирая такие места, где есть вода или топливо. Тотчас разводили огонь и ставили самовар или варили кашу в казанке, смотря по времени.

После чаю они обыкновенно ложились на траве в тени и принимались за трубки, беспрестанно болтая на непонятном для балагулы языке, а после каши забирались в повозку и спали - днем оба разом, а ночью поочередно. Особенное внимание при этом обращали на то, чтобы лежать на небольшом своем железном сундуке. Еврею легко было заметить такую заботливость о сундуке, и он подумал: «Эй-вэй, сколько там должно быть богатства! Если бы мне столько или хоть десятую долю, то знаю, что не въекал бы, балагульствуя, а был бы себе купец, завел бы крамницу для жены, а для себя погреб; все паны, все попы, все замужние заезжали бы ко мне, ели, пили и грошики платили. А я бы себе в атласном кафтане бим-бим-бом!»

Думая да раздумывая, ласый к деньгам бедняк не мог спать и по ночам.

- Што, май, не снешь? - заговаривал бодрствовавший грек.- За лоша не бояться; я сберегать и наш и твоя. Ночевай со сном.

- Комари не дают.

- Комаря не дело, сон - дело.

По большей части этим и оканчивался разговор. Грек принимался за трубку, а еврей за мечты. Разложенный костер мало-помалу погасал, наконец и совсем потухал. Начиналась тишина, в которой по временам тюркал *дримлюх*⁵¹ и постоянно слышались храп спящего грека; сопение еврея да по временам вздохи и вздрагивания лошадей, скубущих густую траву. В больших лесах при этом раздавался голос филина, а вблизи прудов и озер слышалось кваканье диких уток и гуканье *бугай-птаха*. Но едва забрезжит заря, как начинается движение - снова разводится огонь, варится каша, еврей поит лошадей, сыплет им овса, и пускаются в путь при первых криках проснувшихся ворон. Брошенный костер постепенно бледнеет пред усиливающимся рассветом, и к восходу солнца только недогоревшие головешки дымлят вокруг пепелища...

Не один такой ночлег имели наши подорожные, подвигаясь все вперед и с заметной постепенностью встречая все более глубокие долины, более длинные и крутые спуски и подъемы. Для

51 - Какая-то ночная птица.

длинных, не очень крутых и притом гладких спусков и подъемов у подолян существует характеристическое название: *урвыживит*, но *урвыживоты* были уже позади - и не только они, но и несколько таких долин, из которых, оглянувшись назад и посмотревши вперед, невольно призадумался: как здесь люди ездят и только в очень редких случаях ломают себе голову? Кроме крутизны, дорога утыкана кремнями, с которых повозка скачет, как со стола кошка. Зимой прелесть этих путей сообщения увеличивается покатостью дороги к стороне глубоких, утесистых оврагов. Летом на дне их текут ручьи, шумя и извиваясь между кремней и белых камней, а зимой белеет вздувшийся лед. Глубокие ухабы и широкие закаты только слепого не высадят из саней в этой местности. Недаром там существует поговорка: «Шануй горы й мосты, то будут цили косты». Приближаясь к таким спускам, еврей, хотя было и лето, всегда предупреждал своих греков об опасности, и они каждый раз сходили на землю и бежали за повозкою, спотыкаясь и падая. Натерпелись локти и колени, доставалось и лбам; но отставать было неблагоразумно, потому что балагула не слезил с повозки, в которой прыгал и толкался их железный сундук. Еврей мог уйти долиною, тогда что? Последний спуск дался грекам пуще всех.

«Нет сомнения, что в этом сундуке большое сокровище, если они не жалеют себя, только бы не отстать от повозки,- думал еврей.- И отчего это они богаты, а я беден? Отчего железный сундук принадлежит им, а не мне? Ужели он и не может принадлежать мне?»

Вот вступили в лес, а гора все продолжается. Еврей несколько раз останавливал лошадей, подкладывая камень под колеса, чтоб повозка не катилась вниз; греки несколько раз ложились при этом в тени, а конца горы и не видно. Досада и только!

- Скоро ли конец? - спросили греки.

- Еще вы не видели наших гор,- сказал им балагула.- Вот за этой начнется спуск вдвое длиннее и несравненно круче. Там вы и носы себе посбиваете, если вздумаете бежать за повозкою. Кремни, как хаты, а сбоку овраг, что и дна не видно. Завтра сами увидите.

- Далеко так, что ли, что не сегодня, а завтра?

- Далеко? Нет, не далеко, да сегодня нельзя, поздно. Поздно было бы и тогда, если бы солнце стояло не там, где теперь, а вот где.

При этом балагула указал кнутовищем на небо, чуть не на полдень.

- А ночлег есть? - спросили греки.

- Будет,- ответил балагула.- Не далеко, но и не близко впереди есть корчма, а в ней живет один еврейчик, очень добрый человек.

- Сладкий? смачный?

- Я на язык не пробовал, а натуру его знаю. У него все ночуют, и у него все есть - всякие напитки, всякие закуски, всякая всячина. И шабасуют там все, кто приедет, хоть бы и в теперешнюю пору. Дальше ехать нельзя: гора.

Греки переглянулись молча. Им бы хотелось ночевать в более безопасном месте, чем одинокая еврейская корчма: но делать было нечего.

Наконец гора кончилась, и повозка довольно быстро покати-лась по начавшейся ровной дороге, извивающейся между разросшихся деревьев, покрытых мхом. Густая листва там заслоняет землю от солнца, отчего дорога остается влажною и в сухое лето. Потому и теперь листья, солома и прочее, попадавшееся под колеса, прилипало к ободам, и ехавшие не чувствовали тряски повозки; не слышали трескотни, будто сидели в экипаже, у которого колеса обмотаны тряпками. Зато шум леса и говор всяких погремущек, во множестве цепляемых балагулами к упряжи, тем явственнее раздавался в ушах. Деревья, пни мелькали перед глазами, запах и прохлада леса после утомления клонили ко сну. Вдруг лес кончился, и солнце ударило прямо в глаза. Греки встрепнулись, как испуганные птицы, и, посмотревши вперед из-под руки, увидели вдали, на противоположной горе, множество белых стен и красных черепичных крыш.

- Видите ли? - спросил балагула.- То город. Там я мог бы шабасовать даром - там у меня родной дядя; но проклятая гора не одного меня доводит до лишних издержек. Между мною и дядею

будто Сабат-река течет. Вье, вье! уже недалеко,- кончил балагула, взмахнувши кнутом. Лошади живее заколыхались, и вскоре повозка остановилась в заизди, т. е. в корчме с отдельными комнатами для приезжих и с сениями для лошадей.

Здесь в первый раз от выезда из Киева пришлось снимать туго набитые чемоданы и железный сундук. В укладке, по обыкновению, балагула не участвовал, потому и не знал, каких усилий надо было для передвижения сундука. Вот и принялись за дело оба грека. Чемоданы без особенных усилий были снесены, а сундук пришлось свалить на ковер и так уже нести. Корчмарь, издали смотревший на усилия греков, предложил балагуле какой-то вопрос и на полуденный ответ с изумлением покачал головою. Когда сундук был втащен в комнату, тотчас же явился корчмарь с предложением: не угодно ли выпить, закусить? Греки тогда снимали с себя оружие - из-за туго набитых чересов вынули по два шестиствольных пистолета, по два кинжала да еще какие-то особенные ножи и, складывая все это на стол, приказали поставить самовар.

- Вы как на войну,- заметил еврей, посматривая издали на оружие.

- Наш не свой брат, не замай! - сказал один грек, ложась в постель, а другой спросил хозяина, указывая в растворенное окно на бегавших цыплят, величиною с голубя: - А то наш? Как цена?

- Штука злотый,- ответил еврей.

Грек взял пистолет и четырьмя выстрелами убил столько же цыплят, несмотря на то что они разлетелись от первого выстрела: «По два на один довольно,- сказал он, кладя на стол дымящийся пистолет.- Два сварь, а два жарь», - кончил грек.

Еврей пожал плечами от удивления и пошел подбирать цыплят, мимоходом посмотревши на чемоданы и особенно на сундук. Греки не упустили из виду этого взгляда, и один презрительно улыбнулся, а другой покачал головою и начал осматривать оружие. Вскоре приехало на одной подводе четыре еврея и тоже остановились шабашевать, занявши смежную с занятою греками комнату. Надо заметить, что в еврейских заездах нет ни задви-

жек, ни дверных замков, а их заменяют крючки. Но и эти слабые запоры часто заменяются обыкновенными шворками. Притом двери почти всегда со щелями и нередко с дырами на сучках. Виноват ли хозяин, что дверь покосилась, что дерево ссохлось, что сучок выпал? Но эти невинные проделки ведут к тому, что из одной комнаты можно видеть все, что происходит в другой. И в пригодном случае можно сквозь щель перерезать веревку, а там уж бог судья. Греки заметили, что именно такого рода дверь отделяла их комнату от занятой евреями, и положили или обоим не спать всю ночь, или спать поочередно. К этому времени подошел самовар и сам хозяин принес его. Стрелявший грек воспользовался этим случаем, чтобы застрашать еврея, и в его присутствии начал заряжать пистолет.

- Извините,- начал корчмарь, поставивши на стол самовар,- не думайте обо мне худо, что я сам служу. Я человек не такой богач, как вы, но пахолка держу. Только я послал его в город к резнику и купить рыбы для шабашу. Он воротится скоро и будет служить вам очень исправно.

- Прибор не нужен,- сказал лежавший грек,- свой и есть, ром подавай.

Еврей бросился из комнаты, но за порогом оборотился и говорит: «Ложе, гугель подать?»

- Какой? - спросил другой грек, отворяя погребец.

- Принесу ром и гугель. Увидите, каков он,- сказал и еврей.

Вскоре он возвратился с тем и другим, отдал принесенное и побежал из комнаты. В смежной комнате начался громкий говор. В сенях балагулы бранились между собою за стойла, бранили хозяина за нескорую выдачу овса, и корчмарь побежал исполнять требование гостей и отгрызаться. Греки между тем спокойно принялись за чай, еще спокойнее подливали в стаканы очищенной водки, настоянной на косточках чернослива и поданной под названием рома. Ярлык на бутылке был рижский, но самый напиток приготавлился тут же, в корчме. Под влиянием ли этого рома или по какой-либо другой причине греки начали говорить между собою по-русски, постоянно возвышая голос. Смысл их разговора был тот, что, решившись переселиться в Россию, они

должны знать язык нового своего отечества,- что для них, как купцов, прежде всего надо изучить весы, меры и особенно научиться считать на русском языке. И начали они считать, ломая русский язык. А что их соседи по комнате давно замолчали, на то они не обращали внимания, как будто находились среди пустыни.

- Да что нам считать на ветер! - воскликнул наконец один грек как умел по-русски.- Примемся лучше и сосчитаем свои деньги. Они, бедные, должно быть, вверх дном стали от этих проклятых спусков.

Товарищ говорившего не соглашался, намекая на соседей, но видя неуступчивость собрата, спросил, высоко ли солнце. Спрошенный посмотрел в окно и ответил: «Уже заходит».

- Так при свечах. Понимаешь? При свечах,- сказал спрашивавший, движением головы указывая на смежную комнату.

- Поймаю, поймаю,- ответил другой и, схвативши пистолет, прицелился в дверь от смежной комнаты. Ему показалось, что оттуда кто-то смотрит в дырочку. Дверь заколыхалась, но, быть может, оттого, что в то самое время стукнула в той комнате дверь от сеней и, казалось, вошло с громким говором несколько евреев. Прицелившийся грек спустил пистолет и спросил товарища: «Выпьем, что ли, ради скуки?»

- Не мешает,- ответил спрошенный.

Чрез - несколько минут греки уже сидели за рюмками и на столе стояла целая шеренга бутылок. Еще спустя несколько минут на хозяйской половине зажжены были свечи и начался шабаш. На том основании, что евреи заняты праздником, греки принялись за свои деньги, впрочем взвели курки у пистолетов, поставленных под рукой, тут же положили ножи с кинжалами и сели - один лицом к сеням, а другой к смежной комнате. В сундуке оказался страшный беспорядок - золото, серебро, бумажки - все было перемешано.

- Не хорошо ли я придумал? - похвастал предложивший сосчитать деньги.

- Пожалуй, хорошо, но ведь работы хватит на целую ночь.

- Тем лучше, не будем спать.

- Так за дело?
- Ну да. Сложим по сотням, а потом и сосчитаем.
- И оба принялись за дело.

II

Не дрожащими руками, как скряга, сортировали греки свою монету, не со звоном, как казначей, складывали ее в кучки - рубли к рублям, червонцы к червонцам; а спокойно и бережно, будто имели дело не с металлом, а со стеклом. Долго продолжалось это не для многих доступное занятие. Миновала полночь прежде, нежели опустел сундук. Большая часть свободного пола была уставлена кучками рублей да червонцев, еще не бывших в обращении. Тусклый свет нагоревшей свечи искрился на их блестящей поверхности и, отражаясь на потолок и стенки, рисовал там подобие решета или пчелиных сот. Рябели этими изображениями и лица греков, и руки, и спины, и все, куда падали отраженные лучи.

Когда установка была кончена, один грек, тыкая пальцем в каждую кучку, сосчитал сначала серебро и говорит товарищу: у меня столько-то сотен и столько-то *остатка*, а у тебя?

- У меня,- ответил спрошенный,- должно быть столько-то всего, если мы не ошиблись при получении.

- Хотя киевский наш *казначей* и человек аккуратный, как говорят, и не ошибается, однако сосчитай.

Начал тыкать пальцами и другой грек. Оказалось, что в получении ошибки не было. Поступивши таким же образом и с золотом, они принялись за бумажки. Когда и бумажки были рассортированы, сосчитаны и уложены в сундук поверх золота и серебра, тогда щелкнул замок, греки встали, потянулись и принялись за рюмки да за трубки. Но не они одни должны были расправить омертвевшие члены: и евреи, занявшие смежную комнату, должны были сделать то же. После ужина и молитв один из них, более других утомленный, оставил веселую компанию беседовать, а сам отправился отдыхать. Вошедши в комнату, он уви-

дел на стенке, против дверной щели и дырок, изображения светлых кружков. Особенно его удивила цепь этих кружков против щели. Не понимая в чем дело, но и не желая не понимать, он из любопытства посмотрел в щель,- и уже не мог отойти от двери, словно прирос к ней. Вошел другой и третий из постояльцев и, увидя те же кружки и товарища, прильнувшего к щели, равным образом полюбопытствовали узнать, что происходит за стенкой: увидевши такое множество денег, и они, подобно своему единоплеменнику, не имели сил отвести глаз от богатства, находящегося от них так близко. Кто знает, что более поражало этих любопытных: блеск ли денег или оружия, выгоды ли богатства или опасность смерти? Однако они, не шевелясь, как статуи, простояли до самого конца и отошли только тогда, когда сундук был заперт. Опытнейший дал знак остальным - и все тихонько подошли к двери, ведущей в сени, и, с шумом отворивши ее, сделали вид, что входят в комнату, вполголоса разговаривая между собою. Греки заметили стук двери, слышали говор и думали, что евреи в самом деле только теперь возвращаются от хозяина, а как они входили прежде, хотя и без всякой осторожности, греки того не заметили, так были поглощены своим занятием.

Когда греки окончили свою работу, синело небо на востоке и без умолку пели петухи в корчме на чердаке; следовательно, поздно было ложиться спать. И греки приказали пахолку наставить самовар, а сами начали петь, чтобы окончательно прогнать сон. Выпивши крепкого чаю, они достигли, по крайней мере, того, что в наступившую субботу могли спать и скучать поочередно. В таком же поочередном бодрствовании они провели и ночь против воскресенья. Однако евреи даже не покушались на какое-либо насилие, хотя всю ночь шептались между собою и даже приглашали к себе хозяина и балагулу, привезшего греков. К утру они начали бражничать, напиться, перессорились и поснули, где кто упал, под столом, под кроватью.

Солнце давно уже собрало всю росу, когда греки спросили своего балагулу: «Скоро ли ты соберешься?»

- Зараз, зараз,- ответил балагула.

- Ты повторяешь это от самого рассвета.

- До вечера не буду повторять. Видите, уже повозку подмазываю. А вы дайте лучше денег: нечем расчесться с хозяином. Да укладывайтесь.

Один из греков дал еврею несколько рублей.

- Дайте все,- сказал балагула.

- Как все? А если у тебя издохнет лошадь, кто нас довезет до Хотина? - спросили греки.

- Ховай боже! На що ии здыхаты? Нехай жые. А кто довезет? Моя в том голова: пешком не пойдете.

- Смотри же,- сказали греки и дали весь остаток до копейки.

Балагула начал запрягать лошадей, а греки принялись за укладывание. Еврей думал про себя: «Теперь пусть и в тюрьму посадят вас, я спокоен,- я свое получил. А сколько еще получу, то уж мое дело. Не буду больше балагульствовать». Наконец лошади были запряжены.

- Садитесь, сказал тогда балагула грекам.- А я схожу рассчитаюсь.

Греки уселись, но увы, пришлось хандрить не менее полчаса, пока возвратился балагула.

- Куда тебя черт носил? - закричали недовольные греки.

- Уж и черт! - хладнокровно сказал еврей, подбирая вожжи и, прежде чем взобраться на козлы, плюнул в правую руку, взял кнут и закричал на лошадей: «Вье! вье!»

Лошади, хоть и не дружно, тронулись. Загремели бубенчики, повозка перевалилась через порог, давши каждому из ехавших по четыре толчка,- и началось довольно медленное движение вперед к спуску, к городу. Дорога была гладка и шла по равнине. В таких местах прежде балагула обыкновенно старался ехать как можно скорее, а теперь даже сдерживал порывы лошадей, как будто умышленно замедляя езду.

- Шибче, шибче,- понукали греки.

- Шибче? До беди не далеко, поспеем вовремя,- сказал балагула.

- На какую беду он намекает? - спросил один грек у другого.

- Верно, на спуск,- ответил спрошенный.

- Прежде не так он выражался об этом. Да и где спуск? Перед

нами ровная дорога.

Дорога, действительно, не представляла никакой опасности, и спуска не только не видно было, но даже встречались легкие подъемы. Вскоре, однако, начался заметный скат, так что лошади должны были сдерживать повозку. Чем далее продвигались вперед, тем покатость увеличивалась все более и более, а противоположная гора как будто выростала из долины. Откуда-то из глубины поднимался дым, по разреженности которого с уверенностью можно было сказать, что он поднялся от своего источника на значительную высоту. Вдруг балагула остановился, сошел на землю и начал копошиться возле заднего колеса, отчего повозка иногда вздрагивала, будто он толкал ее плечом.

- Что ты там делаешь? - спросил один из греков, высматривая из будки.

- Что делаю? - переспросил балагула, - гальмую.

Это балагула тормозил повозку, привязывая одно из задних колес веревкою к задней ж[е] оси. Кончивши, он обратился к грекам с вопросом: «А вы нет? Не сойдете? Спуск начинается».

Теперь только заметили греки, что перед лошадьми, почти у самых ног, дорога пропадала, и, быстро соскочивши на землю, пошли смотреть вперед. В нескольких шагах дорога круто поворачивала направо и скрывалась за камнем, за которым внизу виднелись только хребты других камней, словно здесь окаменело стадо исполинских баранов с своими пастухами, которые до сих пор стоят в виде отдельных столбов. На противоположной горе виднелся город и расстиралась базарная площадь, кипевшая народом. Далее стояла деревянная церковь с каменного колокольнею, на которой тогда звонили, и во все стороны множество домов, домиков и хат; но ничего похожего на улицу не было видно. Прямыми рядами дома стояли только по сторонам самой площади, а позади строился каждый, где вздумал и как вздумал: кто вдоль, кто поперек, кто взбирался повыше, кто спускался вниз, кто окнами против горы, кто за горою. Виднелись даже жилья, поставленные наискось, под углом одно к другому. И все это на весьма значительной покатости к востоку, отчего окна в городе в это время блестели против солнца, как огненные. Смотря на это,

греки болтали на своем языке, размахивая руками, и казалось, забыли всех и все.

- Вье, вье! - вскричал балагула и вывел их из рассеянности. Давши дорогу, они пошли за повозкою.

Долго, очень долго вилась дорога, ломаясь то вправо, то влево, то наискось, то под прямым углом, пока, наконец, открылась площадка, на которой была городская застава. Без шлагбаума, без ворот, стояла по обе стороны дороги белая каменная стена, к которой, у самой дыры, прислонился соломенный шалаш, заменявший караулку. Балагула остановился, и распухший от сна откупной стражник выполз из своей конуры.

- Мы не везем водки,- сказал один из греков,- и тебе не для чего тревожить нас. У нас только чемоданы и сундук. На, возьми на орехи и отпусти нас.

Стражник принял поданный рубль и юркнул в шалаш. Повозка тронулась вперед, а за ней и греки. Как только они миновали дыру, пожалованную в заставы, откуда ни возьмись явились позади два десятника и тоже пошли вперед. В нескольких саженьях отсюда начиналась небольшая песчаная равнина, пересекаемая быстрым и широким, но не глубоким ручьем. За ней начинался подъем к центру города. На берегу ручья еврей остановился и начал разнуздывать лошадей, чтобы напоить их, а греки тем временем взобрались на повозку ради переправы через воду. Едва они уселись, как в то же время вспрыгнули на повозку и десятские. Почти одновременно с этим, как бешеные, промчались мимо еврей, шабашевавшие под одною с греками кровлею. Они неистово размахивали руками, крича, как сумасшедшие: «Убылы! Заризалы! Злодии! Ловить! Держить их! Вот они!» - и кричавшие указали на греков.

Словно из-под земли выросли сотни евреев и уцепились к повозке и к лошадям, где только можно было. Кто не имел за что ухватиться, тот по крайней мере прислонил руку. Дальнейшие держали друг друга за полы и все кричали, что кому на язык наскочило: злодии! такой мы ни купец! такой мыни грек! и т. д.

В таком виде повозка тронулась вперед. Греки хотели сойти, но полицейские не позволили.

Есть анекдот, будто на одном из царских смотров в царствование императора Николая Павловича⁵² отличился солдат, происходивший из цыган. Вызвали его из фронта, государь спросил: «Ты грамотен?»

- Грамотен, ваше величество.

- Из каких ты?

- Из полевых дворян,- ответил солдат, разумея цыган.

Из таких-то «полевых дворян» происходил и один из двух десятских, сидевших на повозке с греками. Он заподозрил действительность их греческой национальности, а, напротив, принял за своих единоплеменников и в начавшейся суматохе произнес как бы про себя: *девелескери чингерпен*.⁵³ Услыхавши это, греки и не переглянулись между собою, даже глазом не мигнули, хотя и поняли слова десятского.

«Не наши»,- подумал десятский. Повозка между тем, подпираемая евреями, взбиралась все выше. Вместе с этим росла толпа евреев и увеличивался крик.

- Мы ездили на верблюдах,- начал один из греков, обращаясь к десятским,- ездили на лошадях и на мулах; увидим, как возят еще эти ослы. Как думаешь? - спросил он своего товарища.- Вывезут ли они нас?

- Я вполне уверен в этом,- ответил спрошенный.- А куда это они везут? - спросил он у десятских.

- В полицию,- ответили те.- Они обвиняют вас в покраже у них железного сундука с деньгами. Такого, значит, сорта объявление подали, и мы посланы городничим арестовать вас.

- Будьте же свидетелями, что мы не покушались бежать и на оскорбления евреев не отвечали ни одним словом,- сказал первый грек, исподтишка всунувши десятским по рублевой.

- Слушаем-с. А вот и полиция,- сказали десятские.

Весь полицейский двор был битком набит евреями обоих полов и разных возрастов. Кому не хватило места на земле, тот

52 - Николай Павлович (Микола І; 1796-1855) - російський імператор (1825-1855). Його уряд відзначався реакційністю, жорстоким придушенням будь-яких проявів революційної думки.

53 - По-цыгански: божий гнев.

взобрался на плетень, и многие даже на крыши не только соседних домов, но и самой полиции. И все это орало: «Злодии! Вяжите их! Заковуйте! Разбойники! Зарезали, убили!»

- Дорогу! дорогу дайте! - закричал квартальный.

С трудом раздвинулась толпа, и греки въехали во двор.

- Пожалуйте сюда,- сказал им квартальный, указывая рукою на ход в полицию.

Греки пошли по указанию квартального, а за ними десятские и пожарные разом тащили чемоданы и сундук. Когда этот последний был поднят на повозке, один кто-то крикнул: «Злодии!» - И этот крик был подхвачен десятками, наконец обнял всю толпу, обратившись в индючье белькотанье, раздиравшее уши.

- Тише! - вскричал пристав, бывший в полиции. Военный скомандовал бы: «Молчать!» Но этот был не только штатский, но и попович, потому и думал унять толпу евреев тем же словом, каким в духовных училищах старшин в классе унимает шалящих детей. Не тут-то было. И квартальный загладил мягкость частного: он высунулся в окно, сказал русскую фразу, и все затихло. Тогда начался допрос.

- Кто вы? - спросил пристав у греков.

Вместо ответа они подали свои паспорта. Быть греком - значит иметь на своей стороне все неполяченное население нашего края. Одного слова грек достаточно для возбуждения какого-то особенно располагающего чувства, так же точно, как одного слова лях или католык достаточно, чтобы оттолкнуть от себя даже благодушных. Пристав был, как и все наши, а потому, прочитавши паспорта, еще более размяк.

- Знаете ли вы,- спросил он у греков, положивши паспорта на стол,- что без причины сюда не входят с таким триумфом?

- Знаем,- ответили греки,- только позвольте узнать: в чем нас обвиняют и кто именно?

- Сейчас узнаете,- ответил пристав и принялся читать поданное на них объявление. Оно было написано от имени евреев, шабашевавших вместе с греками, и говорило о том, что неизвестные два грека ночью с субботы на воскресенье украли у них железный сундук с деньгами, что эти воры вскоре должны прибыть

в здешний город. Вместе с этим подробно описала наружность сундука и с такою же подробностью означена сумма денег в металле и в бумажках.

Во время чтения стояла такая тишина, что слышно было, как шелестит роскошная липа, покрывавшая ветвями своими все здание, занимаемое полицией. Только изредка евреи поцмакивали в одобрение составителю объявления.

Кончивши чтение, пристав спросил: «Что вы, господа греки, скажете против этого?»

В могиле не может быть тише того, как было здесь в промежуток времени от вопроса пристава до конца ответа греков.

- Да,- ответили они,- мы действительно украли сундук, и он здесь перед вами.

Когда греки произнесли роковое: «Да, мы украли сундук» - пристав вытаращил глаза от изумления, а евреи подняли страшный крик. Кричали целою массою оба пола и все возрасты. Одни произносили, слова, другие мычали, третьи белькотали, как индюки,- кто от удивления, кто от радости, кто из зависти, а большая часть из подражания другим. И до того нахлынули к окнам, что в полиции сделалось темно, хоть свечи подавай. В то же время сотни рук, по локоть пропущенных сквозь окна в комнату, показывали на греков.

- Уймите их,- обратился пристав к квартальному.

- Молчать? - вскрикнул этот. Но его не слушали.

- Прочь! - крикнул он еще, но когда и на это никто не обратил внимания, мигнул солдатам в кулаки.

Солдаты плюнули в кулаки: одни бросились к окнам, а другие вышли на двор - и началась потасовка. Толпа попятилась назад, налегла на забор, и он с треском упал на улицу и придавил как сидевших на нем, так и многих других. Крик затих, только ейкотали ушибленные. Тогда пристав снова обратился к грекам: «Так вы сознаетесь в краже этого сундука?»

- Сознаемся,- ответили они,- только прикажите позвать тех, кому он принадлежит.

- Иось! Лейба! Зейлык! - заорала толпа, заколыхалась, раздвинулась - и явились три известные еврея. Два из них были бледны,

губы дрожали, глаза блуждали по сторонам - по всему заметно было, что трусят, а третий с наглою миною шел вперед, ободряя товарищей: «Стойте на своем и мне не мешайте. Я за всех, цело в шляпе», - говорил он идучи.

- Вы узнаете нас? - спросили греки у этих евреев по приходе их в комнату.

- Как не узнать! - ответил Иось.- И сундук узнаем.

- Так это сундук ваш? - продолжали греки.

- Не ваш же,- ответил тот же Иось,- сами это очень хорошо знаете.

- И деньги ваши? - спросил пристав, посмотревши на евреев с ног до головы. Они были одеты только что не в тряпье.

- Не извольте удивляться,- самоуверенно начал Иось.- Мы могли иметь и не такую сумму. Мы поверенные.

В самом деле, у них оказались доверенности, данные каждому от отдельного богача, с предоставлением права делать именем верителя даже займы в сотни тысяч. Один из верителей жил в Бердичеве, другой где-то в Белоруссии, а третий был местный житель.

- Потрудитесь спросить этого последнего,- обратились греки к приставу,- может быть, он не признает этих денег своими и, может быть, окажется, что мы не крали сундука, что он принадлежал нам, а не нашим обвинителям.

Греки смотрели так невинно, говорили так спокойно, что пристав растаял, как воск перед огнем, и приказал позвать верителя. Опять заревело скопище: «Ребе Шлема! ребе Шлема!» и раздвинулось так широко, как только можно было. В опустевшем пространстве показался еврей в атласном кафтане, в куньей шапке, в чулках и патинках и с тщательно завитыми пейсами. Он подвигался медленно, заложивши большой палец правой руки за пояс, патынки шлепали и плескали по пятам. Это был купец первой гильдии, один из богатейших в окрестности. Войдя в полицию, он поднял шапку над головою, потряс, чтоб осталась ермолка, и презрительно спросил: «Что от меня угодно вашей мосци?»

- Есть ли между этими лицами ваш поверенный? - спросил пристав.

- Я, я! А я? - воскликнул Иось, выскочивши вперед шага на два.- Я хиба не их поверенный? Хиба я не показывал вам доверенность?

- Тебя не спрашивают,- заметил пристав,- так молчи, если не хочешь попасть в темную.

Иось обернулся и с гордостью пошел на оставленное место, усмехаясь и скупя себе бороду. Богач, не обращая ни на что внимания, ответил приставу на предложенный вопрос: «У меня, слава богу, столько занятий - там вовна, там пшеница, там крам, там скот, и то и се, и он що, что одному не управиться. Э, вы не знаете, что такое торговля! Меня спросите, так узнаете. Эй-вэй! И я держу поверенных - на все есть у меня поверенные, только есть, пить, спать и жену свою Хаю любить я взял на себя.

- Так Иось действительно ваш поверенный? - продолжал спрашивать пристав.

- Чы только идеи Иось у меня поверенный! У меня их десятки: и Иось, и Шмуль, и Пинькас, и Габель...

Квартальный шепнул что-то приставу на ухо и этот одобрительно кивнул головою. Тогда квартальный вышел в другую комнату, а пристав обратился к богачу: «Позвольте прервать вас. Не можете ли вы сказать, ваш это сундук или не ваш?»

Богач перестал называть своих поверенных и в свою очередь спросил, указывая на сундук: «Какой? этот? Я видел у себя такой, но это ли тот самый, не знаю; я лично такими пустяками не занимаюсь».

- Тот самый, сказал Иось.

- Если тот, так значит мой,- сказал купец.

- Так и ты говоришь, что это сундук не наш, что мы его украли? - спросил один из греков, как будто упрекая его.

- Ховай боже! Я не говорю, что то вы украли сундук. Я говорю, что это сундук мой, а крали вы его или нег, ничего не знаю и не говорю.

- Украли! украли! - заорало скопище.- Злодюги!

- Штылер! - крикнул богач - и все затихло.

- Так и деньги в сундуке твои? - спросил тот же грек.

- Не все,- ответил Иось, выскочивши вперед.- Часть их.

- Тебя не спрашивают! - крикнул пристав. Иось отправился на прежнее место, говоря как бы про себя: - Одна часть их, а две остальные двух других верителей.

Богач, будто не слушая, что говорит Иось, ответил приставу: «Я сам не вожусь с выдачами денег и в этот сундук не засматривал. Надо спросить у кассира, сколько он выдал, потом сосчитать, столько ли в сундуке, потом и само объясниться, как есть налицо».

- Отвечай просто, коротко,- начал другой грек.- Этот сундук с деньгами твой и деньги твои, и мы украли, мы воры. («Воры, воры, злодюги!» - кричала толпа.) Или этот сундук с деньгами наш, и деньги наши, и нас обвиняют даром?

- Их сундук,- сказал Иось,- и часть денег их. Вы украли сундук с деньгами у нас в корчме, как это и написано в объявлении нашем.

- Где же ключ от сундука? - спросил тот же грек.

Иось не предвидел, этого вопроса и не приготовился к ответу, но, как опытный мошенник, начал искать у себя по карманам и, пошаривши, ответил: «Верно, я потерял его дорогого, когда ночью бежал от корчмы в город, чтобы подать объявление. А вы не нашли? Ключ большой с красным ремешком.... (Наблюдая сквозь щель, они заметили даже эту мелочь.)

- Не это ли он? - спросил другой грек, вынувши из кармана ключ с красным ремешком. Иось подошел, посмотрел, взглянул на сундук и ответил: «Он и есть».

Греки как будто смутились. Это придало евреям смелости, и Иось, подбоченясь, сказал приставу: «Что здесь долго возиться! Пишите показание и отдайте наше нам, а катово кату. Велите принести кандалы».

Приставу не хотелось обвинять греков. Он знал обвинителей лично как отъявленных мошенников, знал и этого богача, нажившегося в течение нескольких лет ни с сего, ни с того, словно клад нашел; поэтому был убежден, что они клеветают в своем объявлении. Но почему же греки признают себя ворами? «Послушайте,- обратился он наконец к обвиняемым,- вы хотите выпутаться посредством хитрости. Не хитрите, а говорите чистосер-

дечно...»

Крик толпы заглушил его речь. Богач погрозил пальцем, крик затих, и пристав продолжал: «Дело не шуточное. Надеть кандалы можно и шутя, но, попавши в тюрьму, не легко снять их».

- Так, значит, нам бог судил. Он знает, кто прав, а кто виноват,- сказали греки.

- Вы же что скажете: правы вы или нет? Украли сундук или нет?

- Если пред вами стоят те, кому он принадлежит, и обвиняют нас в воровстве, то, очевидно, чужая собственность не могла попасть в наши руки иначе, как они говорят, потому что мы ее не покупали.

- Т. е. вы сознаетесь, что украли сундук?

- Да, сознаемся,- ответили греки.

Скопище заплескало в ладони, обвинители приосанились и воображение сулило им золотые горы.

- Делать нечего,- сказал пристав и позвал квартального из другой комнаты, где он до сих пор находился. Квартальный вышел с исписанною бумагою в руках. То был весь разговор, веденный в полиции и записанный слово в слово.

- Прочитайте,- сказал ему пристав.- А вы слушайте,- обратился он к обвинителям и обвиняемым.

Когда квартальный кончил, пристав спросил у греков: Так ли? Верно ли написано?»

- Так, верно,- ответили греки.

Теми же словами на подобный вопрос ответили и евреи.

- Подпишитесь, если грамотны,- сказал пристав грекам, и они подписались по-гречески. Затем подписались и евреи, еще более повеселевшие.

- Кандалы! - сказал пристав вздохнувши.

- Одной пары будет мало, велите принести две, сказали греки.

- Вы и теперь шутите,- с участием сказал пристав.

- Увидите, что мы не шутим.

- Гм,- сказал Иось,- может быть, у вас в Греции надо заковы-вать одного в двое кандалов; у нас они не из клочья - сдержат!

- Две пары кандалов,- приказал пристав десятскому.

- Вот это ладно,- сказал один из греков.- Теперь слушайте. Мы греки, мы любим русских, а жидов не любим, они пархи. Когда мы ночевали в одной с ними корчме - здесь, на горе, то они, попившись, начали считать деньги. Так ли? - спросил он у евреев.

- Так, так,- ответили обвинители.- Мы считали деньги, а вы смотрели в щелки и потом украли сундук с деньгами.

- Хорошо. Так, действительно, мы украли сундук с деньгами (на дворе заплескали в ладоши), но почему? Потому, что по звуку деньги показались нам не настоящего монетою, а *фальшивою*. Мы сами доставили бы их сюда.

- Эй-вэй! - вскрикнули обвинители, заглушая последние слова греков.

- Вус? фальшивес? - раздалось в толпе.

- Извольте удостовериться,- предложил грек.- Если мы ошиблись, то будем просить прощения, если же нет, то примите нашу услугу.

Обвинители смекнули, что дело плохо, и хотели уйти, но были задержаны - кто солдатами, а кто греками. Пристав велел отпереть сундук, и оказалось, что не только рубли и червонцы, но даже бумажки были фальшивые. Дело получило другой оборот: обвинители стали обвиненными и тотчас же были закованы в кандалы все четверо. В толпе начался крик, поднялись вопли, и вся масса бросилась ломать здание полиции, чтобы освободить своих или, по крайней мере, утащить железный сундук, как личное. Солдаты приняли евреев в приклады, а по распоряжению городничего, который жил недалеко и видел все, позваны были крестьяне с базарной площади и охоче принялись скубти бороды и рвать пейсы, не скупясь притом и на подзатыльники. Суматоха была страшная, но продолжалась недолго. Спустя около часа возле полиции все было спокойно, только солома, сорванная с крыши, лежала кругом, заслоняя окна, и в «холодной» стонало четыре еврея в кандалах. Иось молчал, Лейба и Зейлык бранились на него, а атласный кафтан плакал, приговаривая: «Я думал, что и этим помогу, как помогал не одному, а теперь и сам пропаду, на Сибирь пойду. Эй-вэй-вэй!»

Недолго спустя прибыла вся инвалидная команда, и часть ее оставлена была при полиции для безопасности греков, а другая отвела арестантов в тюрьму.

В ту же ночь греки дали вторичные показания о покраже сундука и тихонько выпровожены были за город, где ждала их приготовленная полицией подвода: «Едьте себе с богом да поскорее, чтоб не настигли евреи», сказали провожавшие.

- Не говорил ли я тебе, что эти ослы нас вывезут? - похвастал один из греков, когда осталось их только два, да третий мужичок на передке.

- Да, отлично вывезли. Но подлецы же они! - сказал другой. - Должно быть, они уже не одного так обобрали, как думали обобрать нас.

- Впредь уж никого обирать не станут.

- А этот богач! А! Мой, говорит, сундук! Мои деньги.

- Пусть теперь отдувается, мошенник. Как же нам-то поступить с Хроимом.

- Черт с ним! Разве мы мало разменяли для него? Пусть будет доволен тем, что получил, а что остается при нас, разделим поровну - впредь баста якшаться с жидами.

- Разве ты не думаешь побывать в Хотине? Бросишь жену и детей?

- Ха-ха-ха! Приду ночью, заберу всех их, а шатро и лохмотья оставлю для отвода глаз. Затем в степь. Если будет тесно в Бессарабии, перейду за Днестр, за Днепр... Э! были бы деньги!

- Я куплю землю.

- Я заведу стадо лошадей.

- Брось цыганство - берись за оседлость.

- Т. е. лезь в ярмо? Спасибо. Останусь цыганом, как родился, буду жить в шатре, зато на свободе.

Так разговаривали между собой мнимые греки, а в самом деле бессарабские цыгане, занимавшиеся вместе с одним евреем, вышедшим в откупщики, подделкою монеты в Хотине и ездившие в Харьков, в Полтаву, в Кролевец, в Москву и далее для размена ее. Случай с железным сундуком образумил их и сделал одного землевладельцем в Новороссийском крае, а другого ко-

чующим торговцем лошадёй. Первый осел под видом грека, а другой и умер цыганом. Евреи же, польстившиеся на сундук, переведены были из местной тюрьмы в каменецкую крепость, потом в киевскую и наконец сосланы в Сибирь, несмотря на все происки своих одноплеменников. С этих пор в нашем крае довольно долго не начиналось ни одно «дело о распространении фальшивых денег». Что же касается балагулы и корчмаря, то хотя и они участвовали в общем совете насчет железного сундука, однако не были привлечены к делу и остались на свободе.

ЗА ГОД ДО ХОЛЕРЫ

Подоля, Подоля! гирка твоя доля...

Хороший край, та лыха година.

Поговорка

I

С четверть века тому назад в июне месяце 18... года, в с. Ст-вке звонили к заутрене. Православный люд набожно крестился, готовясь на молитву, и поодиночке или группами выходил на улицу, направляясь к церкви. То сям, то там резко скрипели пересохшие ворота, как бы жалуясь на бездождие, как бы сетуя, что восходящее солнце до вечера еще более высушит их. А солнце поднималось над землею, как ленивый наймит с кровати...

Ни капельки росы, ни листочка свежего, ни малейшего движения в сером сухом воздухе, в котором висело солнце, как бумажный фонарь, без яркости, без блеска. Только предстоявшая жара давала себя чувствовать непомерною духотою. Озера, колодцы почти лишились воды, реки обмелели, даже горные ключи ослабли, приуныли. Овцы кашляли, лошади сморкали, рогатый скот точил пену, сухопутные птицы огромными стаями покрывали берега сельского пруда, и люди были угрюмы, невеселы, не имея достаточно слюны, чтобы вовремя освежать засыхающий язык. Только вечно беззаботное эхо шутило, передразнивая в своих лесах колокольный звон. Привычные жители не обращали на него внимания, спокойно продолжая путь; а два хозяина - Иван и Петр - даже завели разговор.

- Так що? що расказуе Клым? - спросил Иван.

- Чудасию, брате,- ответил Петр.

- Холеру пидвозыв, чы що?

- Не сам вин, а другый. «Я,- говорит,- покормивши в Вудах коней, готовлюсь к отъезду; как, вижу, остановился с возом - тут же возле корчмы - человек, на котором *лыця нема*: губы синие,

глаза впалые, щеки словно мукою посыпаны, и всем телом трясется. «Что с тобою? - спрашиваю», - говорит Клым. «Гм, що! холеру пидвозыв», - ответил приехавший и рассказал. Говорит: «Еду я дорогою - *гей та гей!* Уж оставалось не более двух верст до села, когда догоняю будто шляхтянку - еле плетется и стонет. Взяла жалость, я и говорю: «Подъедешь со мною? Садись, если угодно».- «Подвези, добрый человек, Христа ради. Только я лягу».- «Ложись». Она, - говорит, - легла и стонет да благодарит; а я себе *гей та гей*. Подъезжаю к кладбищу. «Стой, - сказала больная, - я слезу».- «Куда же ты? В село уж дай свезти».- «Нет, дальше не могу: слезу здесь».- «Ну, - говорит, - думаю - слази». Останавливаю волов и подаю руку: «Дай свою, пособлю».

До этого времени она шаталась, как прибитая курица, а теперь, будто припек кто или кольнул, сразу схватилась и говорит: «Не мне, а вам надо пособлять. Я св. Магдалина,⁵⁴ посланная богом наказать людей. И сперва примусь за скот, а потом и за вас. Я *помир*, я холера», - заключила она, посуваясь к задку, чтоб слезть с воза. В это время, - говорит, - я заметил, что у нее *товарячи* ноги. Почему я не умер тут же на месте, не знаю, но до смерти оставалась только *чысниця*. Видя, что я так испугался, холера сказала: «Не бойся, я тебя не трону. И никого в селе не трону, если возьмут пару черных волов, не бывших в ярме, и запрягут их в плуг, не бывший в земле, возьмут за *погоньча* и за *плугатора* девчат, не целовавшихся с чужими мужчинами, и проведут вокруг села борозду. Этого довольно. Не забудь же!» - кончила она и пошла на кладбище в бузину да там и исчезла».

- Что ж? Исполнили? - спросил Иван.

- Должно быть, - ответил Петр.- Потому что бывшие тут же парубки ручались, по крайней мере, за двадцать таких девчат, а хозяева указали немало черных бычков. Что же касается плуга, то его можно сделать и новый.

- Правда, що чудасия! - заметил Иван.- А то, чтоб - водки не пить, откуда взяли?

- Это вышло от самого царя. В водке, значит, вся холера си-

54 - Св. Магдалина - за християнською легендою, грішниця, яка, спокутавши свої гріхи, була причислена до лику святих.

дит. А сверх того пошли по свету мятежники, которые травят воду и особенно водку; так вот царь и предписал: «Не пейте водки, потому что она ядом заправлена; а воду почаще святите».

Разговор этот, с додачами и прикрасами, уже более двух недель переходил в Ст-вке из уст в уста, и сам Иван передал его не одному и слышал не однажды до разговора с Петром. Тем не менее интерес его не уменьшался, а напротив увеличивался с каждою новою передачею. И все наедине раздумывали, а в обществе разговаривали о слышанном, о Марии Магдалине. Малые и старые, мужчины и женщины толкли одну и ту же воду. Тревога меж тем возрастала и после нескольких ярмарок приняла громадные размеры. Начались молебны Марии Магдалине, участились водосвятия, замолкли песни, и дверь в шинок отворял только шинкарь с своим семейством. Если бы бог послал несколько капель дождя, то и площадка перед его порогом травой бы заросла. Но не было божией благодати, не проявлялась и жизнь. Все было мертво, кроме общего страха и корыстолюбия шинкаря. Этот с ума сходил, что на самое розговенье после Петрова поста⁵⁵ даже ни одной рюмки не выпито, что в поле начали показываться копы, а бочка полна от вознесения.⁵⁶

- Эй-вэй-мир! - вопил шинкарь. Сура ему вторила, а детки подхватывали целым хором и выходил концерт вроде гусяного.

II

- Ну, panie. A co to będzie?⁵⁷ - спросил еврей, нахально совая свою руку в руку помещика.

- A przecie?⁵⁸ - переспросил пан, неохотно принимая данную

55 - ...после Петрова поста...- Йдеться про піст, який починався після свята на честь апостолів Петра і Павла, з 30 червня за ст. ст.

56 - Вознесение - релігійне свято, яке відзначалось на 40-й день після великодня і пов'язане з легендарним взяттям воскреслого Ісуса Христа на небо.

57 - Ну, пане! А що з того буде? (польськ.). - Ред.

58 - То що ж? (польськ.). - Ред.

руку.

- У меня бунт! настоящий бунт!

- Под предводительством Суры жиденята восстали - а?

- Jaki bo pan! Nie chce rozumieć.⁵⁹ Если говорю: бунт, то, значит, бунт.

- Мне-то что до него? Пусть у тебя и гуси бунтуются, для меня все равно.

- Овва! nie chce bo pan rozumieć.⁶⁰ Если говорю: у меня, то разумею: у пана, в Ст-вке. Пан там dziedzicz,⁶¹ а я gospodar.⁶² Если у одного бунт, то и у другого; если у меня, то и у пана.

Пан ударил в ладоши и приказал вошедшему казачку подать трубку. Еврей как-то своеобразно нагло уселся в кресле возле самого стола, тряхнул ермолкой, чтобы освежить бритую голову, и начал баловаться пейсами, закручивая их то на один, то на другой палец, то сводя под бородою, то на затылок.

- Так ну? - начал снова еврей.

- Ну? - сказал пан.

- Co z tego będzie?⁶³

- Z czego?⁶⁴

- A z buntu?⁶⁵

- С какого?

- С страшного! с ужасного бунта! С поголовного восстания! Мне приходится так круто! так круто, что хоть из села уходит. Прежде, бывало, только мигну, так и гуси, и кура, и яйца, и рыба - девать негде! Принесут да еще и поклонятся: примите. И все за процент, чтобы подождать за выпитую водку. А теперь... у меня спина болит от поклонов - у меня - Гершка! спина болит!.. Как

59 - Який-бо пан! Не хоче розуміти (польськ.).- Ред.

60 - Не хоче-бо пан розуміти (польськ.).- Ред.

61 - Дідич (польськ.).- Ред.

62 - Господар (польськ.).- Ред.

63 - Що з того буде? (польськ.). - Ред.

64 - З чого? (польськ.). - Ред.

65 - А з бунту? (польськ.). - Ред.

вам это кажется?

- Очень естественно. Кланяешься, так и спина болит, а если бы довелось жать, то еще не так заболела бы.

- И вам до этого никакого дела нет?

- Никакого.

- Никакого нет дела хозяину, что его усадьба горит?

- Горит ли? Может быть, дымит с печи, в которой готовится вкусный обед?

- Если такой, как мне в Ст-вке, то правда, что вкусный! Нехай бог bronie.⁶⁶ Вот уж скоро два месяца, как никто ко мне и наплевать в шинок не приходит. Ока хлопского не видно! - с энтузиазмом говорил еврей, ударяя себя в грудь.

- Порадуемся,- хладнокровно сказал пан.

- Радоваться! - воскликнул еврей, схватившись на ноги,- радоваться, что целые полгода стоит бочка непочатою? То вы будете радоваться, что хлопы разоряют меня?.. Если так, то отдайте мои деньги и радам до нòг.⁶⁷ Я найду себе пана Яна, а вы не найдете другого Гершка.

Пан продолжал курить молча, а Гершко начал расхаживать по зале, поглаживая бороду, покручивая пейсы и видимо наслаждаясь, как его патынки, цокнувшись о паркет, отскакивают и плещут по пятам.

Это происходило в палате владельца нескольких сел, в числе которых была и Ст-вка. Пан Ян был сам владелец, а Гершко... Но возвратимся назад лет за пять.

III

После первого, обыкновенно пропадающего, снега в селе Ст-вке среди площади образовалась большая лужа и вскоре замерзла до самого дна. Как утки от воды, так крестьянские мальчишки отсюда со льда не отходили с утра до вечера. Катаясь на сапогах

66 - Боронить (полськ.).- Ред.

67 - Падаю до ніг (полськ.).- Ред.

(чаще на постолах), как на коньках, они падали поодиночке, подбивали других, валились кучами, барахтались, кричали, пищали, смеялись, иной раз ругались и даже дрались, но это нисколько не мешало забаве. Иной, пошаловливее, выбивал *тропака*, шел вприсядку, и тем веселее было, если он, неудачно выделавши ногой, поскользнется и упадет. Общий хохот одобрял ошибку как умышленный фарс, и танцор продолжал, к общему и своему удовольствию, пока что-либо не помешает. В настоящем случае помешал призыв, раздавшийся из среды самих гулявших: «Дывы! дывы, як иде!» Мгновенно забава была забыта, и все обратились в ту сторону, куда указывал приглашавший смотреть.

Представьте себе ящик, в каких купцы содержат, напр., сальные свечи, - на одной стороне его было даже выжжено несколько букв и несколько цифр. Ящик этот - исправлял должность кузова, двигаясь на двух колесах. Из них одно когда-то принадлежало *литерняку*⁶⁸ и не имело нескольких спиц, а - другому, взятому с *васажка*,⁶⁹ не доставало куска обода. В сравнении с этим экипажем, настоящая *бида*⁷⁰ показалась бы каретой, а клетка, в каких вывозят курей на базар, для своих обитателей могла бы сравниться с манежем, применительно к тому, как теснилось в двухколесном ящике еврейское семейство. Одна фигура - очевидно, дражайшая половина главы семейства и в домашнем быту незаменимая насадка - торчала посередине, а кругом, то выше, то ниже, то совсем низко, виднелось что-то круглое, обвернутое в тряпки. Это были головы детенышей, аккуратно покачивавшиеся в такт хромавшему колесу. По временам раздавался писк, если одна голова, пошатнувшись, попадала другой в нос; но вскоре водворялась прежняя тишина из уважения к дремоте матери, убаюкиваемой равномерными толчками. Обшарпанный глава семейства, Гершко Смаркач, шел с дубиною возле лошади, на каких

68 - Литерняк - летний воз, употребляемый преимущественно для перевозки хлеба с поля.

69 - Васажок - небольшой воз, в который запрыгают только лошадей.

70 - Бида - двухколесная повозка, называемая в некоторых местах «выгодою».

обыкновенно изображают смерть, и при каждой, самой ничтожной, неровности плечом подпихал экипаж. Без этого пособия с его стороны лошадь давно бы остановилась, а остановившись, легла бы и уж не встала; так она была хила и истощена.

- Тпру! тпру! - закричали мальчики, и лошадь пошатнулась, желая остановиться, но полновесный удар из двух рук дубиною не допустил ее до этого.

- Тпру! тпру! - продолжали шалуны.- Тпру, крыця не лошиця! Море перескочыть, фоста не замочить; а по сухому чуть ноги волочить... Вогонь не кобыла! як бижить, то дрыжыть, як упаде, то лежить. Поможить пидняты, будем миняты!.. Жеребна! жеребна! Морда, фист та ребра!..

Не вытерпел Гершко, бросился на мальчиков с дубиною; они с хохотом кинулись врассыпную, еще пуще крича. А лошадь, воспользовавшись случаем, остановилась и легла. Гершко бил ее дубиною, толкал ногами, тянул за хвост, за уши, но ничто не пособляло.

- Поможить пидняты, будем миняты! - смеялись хлопцы.

- Вам смих,- сказал им Гершко,- а мени до плачу доходит. Ну? что мне теперь делать?

- Пидняты та й миняты або з живои шкуру зняты,- продолжали шалуны.

Гершко молча стал озираться. Небо было чисто; на западе алело, а с севера подувал резкий ветерок.

- Хлопци! хлопци! - начал Гершко, посматривая то на мальчиков, то на свою несчастную лошадь.- Хлопци! попросите который-нибудь своего батьку сюда; я ваш шинкарь.

- Нема батькив, на панщини,- ответили хлопцы.

- То покажите свою хату.

- Разве мы с одной хаты?

- Знаете, хлопцы, що? - начал вкрадчиво Гершко.- Я вам дам гостынця, тилькы прынести синця мойй бидний кобыльчыни.

- Сино не наше, батькове. И гостынцев твоих нам не треба. А коли хоч, иды до Клыма.

- До якого Клыма?

- То в нас такой дид е. Вин и сина дасть, и в хату прийме. Он

и хата ёго.

Гершко посмотрел по указанию и увидел богато обстроенную крестьянскую усадьбу; но не сразу отправился туда, а сперва спросил: «А шинок у вас где?»

- Вот он,- указали мальчики на пустую хату, в которой даже не все окна были целы.

Почесал Гершко за ухом, погладил бороду и отправился к Клыму, спросивши предварительно, много ли он держит собак. Ветер между тем все свежел, мороз усиливался, а продрогшие жиденята подняли плач. Никакой *штилер* матери, приправляемый толчками, не унимал их, потому что не грел. Но вот возвращается Гершко, *устилкамы* дорогу замечает, а за ним идет Клым - глубокий старик с седой бородою, но с черными на голове волосами. Посмотревши на лошадь, он сказал: «Ты ее не кормишь?»

- А чем ее кормить, коли нечем и семейство прокормить?

- Бисова невира,- сказал Клым спокойно,- зачем же и держать, когда не кормить!

- Зачем? - сказал Гершко и замолчал, предоставляя Клыму самому решать свой вопрос. Клым заложил руку под шапку, почесал темя и пригласил евреев погреться. Гершко принялся подпихать повозку вперед, чтобы таким образом выпрячь лошадь, и вскоре достиг желанной цели. Шлея, занимавшая место хомута и наглухо прикрепленная к оглоблям, сползла с шеи - и выпряжка кончена. Тогда он покатиł свой ящик несколько назад, чтобы миновать лошадь, и стал в оглобли.

- Хоть бы ты слезла,- сказал Клым Гершчихе.- Видишь, муж надрывается, и сидишь, словно приросла.

Гершчиха послушалась, и повозка поковыляла вперед. Мальчики подпирали ее сзади, а Клым дорогу указывал, думая про себя: «Если бы это своя вера, то можно бы предложить и закусить, чем бог послал. А с жидом чем поделишься? И хлеб для него трэф, и молоко трэф, и все трэф, только печеные яйца не трэф. Но где же их взять, если куры не несутся? По крайней мере, накормлю несчастную лошадь. Она благоразумнее своего хозяина, не придерживается никаких трэфов. А *невиру* отогрею, нехай бог

прыйме».

Это был тот самый Клым, который впоследствии привез в Ст-вку рассказ о Марии Магдалине, а в Гершке Смаркаче кто узнал бы того еврея, которого мы оставили в палаце пана Яна? Меж тем это был он, только уже не Смаркач, а Шмаркенштейн. Поселившись в Ст-вке, он, по хорошо обдуманному плану, втерся в доверие к арендатору и сельской крупичатой мельницы, старому холостяку, и поступил к нему на службу не за определенное жалованы, а за известный процент из чистого дохода. Год-два дела шли очень хорошо для обоих. Арендатор получал доход больше прежнего, а Гершко приодел свою Суру, продолжавшую шинковать; в шелк и атлас.

- Ты хороший человек,- сказал Гершку арендатор после годового учета.- Мастер своего дела.

- То ли было бы, если бы я мог распоряжаться как хозяин? - заметил Гершко.- Теперь меня никто не слушает, и то дела - ваши пошли лучше; а тогда пошли бы лучше за самолучше.

- Чего же ты хочешь? Формальной доверенности?

- Доверенности? Нет. Доверенность и на бумаге все-таки одно слово. Никакая доверенность не делает больше, чем слугою. Вы уж, если хотите писать, то напишите, что я ваш *спильнык*.

- Лапсардак ты этакой,- сказал арендатор,- да кто же поверит?

- На такую часть, какую я теперь получаю, всякий поверит,- сказал Гершко,- верят же, что получаю такой-то процент? Ну, и напишите, что моя доля равняется этому самому проценту. Что вы чрев это потеряете? Ровно ничего. А выиграете очень много.

После этого Гершко начал перечислять выгоды для арендатора от такого участия своего в аренде и довел пана до того, что он действительно заключил с ним такого рода условие на все оставшее время своей аренды. Сверх этого ленивый холостяк уполномочил своего компаньона распоряжаться всем по собственному усмотрению и обеспечил такое полномочие в случае неустойки лишением себя права получать доход, но с обязанностью вносить причитающуюся арендную плату.

- Это делается только для формы,- сказал Гершко, сворачивая

бумагу,- только для людзького ока,- чтобы люди знали, что Гершко не обманщик, и охотнее вступили в сделки.

- Разве я сомневаюсь в этом? - сказал арендатор.- Я знаю людей, я сам человек торговый. Я уже состарился, обленился, и слава богу, что он послал мне тебя на помощь.

«Ладно»,- думал Гершко и сказал жене, вручая ей бумаги: - Береги, Сура! Если не сбережешь, то лучше потеряй голову. От твоей головы мне ни пользы, ни убытка; а здесь - все счастье, богатство!

В следовавшие за сим несколько лет Гершко довольствовался прежним процентом и с великою благодарностию принимал небольшие надбавки за большие барыши. Вот однажды, пробывши в отсутствии более двух недель, он приехал в Ст-вку и с сияющим лицом явился к своему сіс-компаньону.

- Пане! Что это такое? Что такое это? - нахально спрашивал он, совая арендатору чуть не в нос лоскут бумаги, написанной по-еврейски.- Скажите, что это такое?

- Отстань,- сказал недовольный арендатор.- Почем мне знать, что там нацарапал каков-то диавол.

- Нацарапал? диавол? - с особенною, почти презрительною миною смотря в глаза, сказал Гершко.- А это что? - продолжал он, вынувши из кармана значительный узел и высыпая на стол червонцы.

- Это я знаю что,- сказал арендатор, не переменяя тона.

- Я знаю, что вы это знаете,- сказал Гершко.- А это знаете что? - продолжал он, высыпая червонцы из другого узла, вынутого из другого кармана.

- И это знаю,- ответил арендатор.

- То-то же! Так не говорите же, что царапал диавол, потому что это писал один большущий миллионер из самой Варшавы. Он называет меня «господин купец, господин Шмаркенштейн» и просит продать ему хоть и миллион пудов нашей муки за готовые деньги. «От вашей муки,- пишет он, большущий миллионер,- от вашей муки, господин купец, пан Шмаркенштейн, Варшава не отсмакуется». Вот что он пишет! И если только вы согласны, то я поеду в Варшаву и оттуда привезу *пецы* мерками.

- Тебе с каждой по гарнцу будет.

- Зачем мне - харпаку - так много? С меня довольно и по горсти.

«Образец безкорыстия», - подумал арендатор, а Гершко продолжал: - Так вы согласны, чтобы я ехал в Варшаву?

- Отчего же не согласиться? Разве ты в этом предприятии видишь какую-либо невыгоду?

- Broń boże!⁷¹

- Так поезжай с богом.

- Еще вопрос, - сказал Гершко. - Я думаю, что было бы хорошо, если бы один транспорт пошел со мною.

Арендатор разинул рот для ответа, но Гершко продолжал: - Это, вот для чего. Вы купите волов и пошлете муку на своих подводах, а я в Варшаве продам муку и мясо. Не правда ли хорошо придумано?

- Конечно, - одобрил арендатор, - за одним разом два дела.

- Za jednym przysiadem kolacja z obiadem,⁷² - сказал Гершко, самодовольно улыбаясь.

Немедленно закупка волов была поручена Гершку, и он, повсегдашнему, не забывал себя. Но арендатор и не подозревал ничего подобного. «Гершко, - думал он, - в моем деле вернее меня самого». А Гершку того только и надо было. Отправившись с небольшим транспортом, он, действительно, продал муку и «мясо» с большою выгодною и, отправляя по почте арендатору деньги, вместе с тем прислал и формальное условие, заключенное с «большущим миллионером» на поставку муки, сколько будет возможно, хотя бы и сто тысяч пуд. В письме он не забыл přátельски просить, чтобы пан не отправлял муки чрез извозчиков-евреев. «Я евреев боюсь, - писал Гершко. - Они, вы знаете, большие мошенники, не пожалеют и своего, если дело коснется денег. Хлопы не привычны к большим городам и легко могут быть обобраны в Варшаве, где плут на плуте едет и плутом погоняет. Если можно, поищите *кракусов*. Они будут возвращаться с Полтавы

71 - Боронь боже! (польськ.). - Ред.

72 - За одним присіданням вечера з обідом (польськ.). - Ред.

без груза, так и договорите. Народ разбитной и для пана, как поляка, думаю, будет приятно, что заработает свой из шляхетных польских рук».

«Конечно, конечно, Гершко прав», - думал пан, и слепо веря хитрому плуту, энергически принялся за исполнение его совета. Кракусы были наняты, и вся мукам так сказать, до последней пылинки, была отправлена с ними в Варшаву, по адресу, присланному Гершком.

Отправивши транспорт, пан опочил на лаврах, не обращая никакого внимания на мельницу. Что из восьми поставов царапал только один и то пополам с грехом, что большая часть прислуги спала *до роспуху*, не имея занятия, что последний закром в амбаре через несколько дней должен был очиститься от зерна - до всего этого как будто не было никакого дела пану. Он ожидал от Гершка из Варшавы золотых гор и махнул на все рукою, предавшись мечтам. Разыгравшееся воображение рисовало перед ним не покойную старость, а радужную будущность, в которой мелькала даже красивая головка молодой польки. Увы! Такое самообольщение продолжалась недолго. Спустя несколько недель по отъезде кракусов пан получил от Гершка простое письмо, в котором честный и верный товарищ всеми богами заклинал его поторопиться отправкою муки.

- Больно нетерпяч, друг любезный, поторопился написать. Я уверен, что мука уже в Варшаве и если еще не сдана, то по крайней мере, сдается, - сказал сам себе пан и снова предался мечтам, сосредоточившись на воображаемой девице. Он баловался ее кудрями золотыми, чувствовал на лице теплое ее дыхание, а на устах горячий поцелуй. Корявое старческое сердце нагрелось любовью и забилося так, как биться для него было бы поздно назад тому сорок лет. Кругленькое брюшко свидетельствовало об иных привычках и желаниях, а отвисшие *набородки* должны были своротить мысль на неприятную опочивальню из четырех досок; но не тут-то было. Пану грезился не по случаю похорон освещенный костел, не вокруг гроба горящие свечи; но брачное торжество и сумрачные лица завистливой молодежи, лишаящейся невесты-голубки, цветка невянущего, зоречки ненаглядной. Среди такого

упоения опять письмо от Гершка, опять с тою же просьбою. У старика молодого зазвенело в ушах, глаза выкатились и загорелся в них неестественный огонь, уже не потухавший. Вскоре получено и третье письмо, в котором Гершко уведомлял, что кракусы воровским, способом продали муку в Варшаве, и просил о скорейшем уведомлении, сколько - пудов отправлено с ними, а также об указании примет и названия хоть одного из мошенников для заявления на таможах. Так ли удачно он и расчел или дело само уладилось, только старый мечтатель не дочитал письма, будучи поражен ударом...

IV

Словно сорока на крыльях принесла Гершку весточку о случившемся: так скоро прибыл он в Ст-вку. Но это был уже не Гершко Смаркач, не бердичевский мещанин, а варшавский второй гильдии купец Гершул Шмаркенштейн. Из Ст-вки он выехал в искривленных сапогах, рыжих, облипших мукою, в оборванном лахмане неопределенного цвета и в многолетнем картузе, который издали казался вынутым из голубятни; из Варшавы же приехал в черной, высокой, круглодонной шляпе с широчайшими полями, в кафтане шерстяного атласа, в желтых панталонах, запущенных ниже колен в женские чулки, в патынках, едва держащихся на пальцах, небрежно подпоясанный куском шелковой материи, вместо пояса, и в аккуратно сшитой, островерхой ермолке. Словом, выехавши настоящим оборвышем, он возвратился настоящим еврейским франтом. А что важнее всего, так это туго набитый бумажник, купленный и наполненный от выручки за муку, доставленную кракусами. Сура встретила своего мужа с благоговением, походившим на обожание. И прежде она считала его гением, а теперь... О, теперь Смаркач казался ей мудрее премудрого царя Шулема.⁷³ Чем же занялся по возвращении своем премудрый Гершул Шмаркенштейн, т. е. образцовый плут Гер-

73 - ...премудрого царя Шулема...- тобто царя Соломона.

шко Смаркач? Немедленно предъявил полиции бумаги, которые в свое время даны были Суре для сбережения, заявил претензию на получение условленного процента из доходов за несколько лет и таким образом захватил все имущество им же самим убитого арендатора. Наследникам осталось только голое право на продолжение аренды совместно с Гершком, который таким образом воспользовался доверенностью умершего арендатора «не для людзького ока», как уверял его. Вскоре он запутал и своих соучастников, так что, оставаясь *de jure*⁷⁴ одним из многих арендаторов, *de facto*⁷⁵ арендовал мельницу один и получал весь доход в свой карман. Помнившие тот ящик, в котором Гершул Шмаркевштейн, будучи еще Гершком Смаркачем, привез н Ст-вку свое семейство, и клячу его, только пожимали плечами, а Гершко не дремал. Он уже вокруг владельца раскидывал паутину, первые нити которой давно уже были высучены. Но чтобы поймать такого большого жука, каков помещик, надо было перешагнуть несколько ступеней, отделявших подсмотренную жертву от избравшего его хищника. Все это сделано при помощи той же аренды. Идучи вперед медленно, как день к вечеру для человека, скучающего от безделья, но так же верно приближаясь к цели, как солнце к западу, Гершко начал доказывать помещику, что его крупчатка приходит в окончательное расстройство, что без основательной починки нельзя отдавать ее в аренду. Пан Ян, управляя всеми селами без экономов и наблюдая лично за всем, видел, что он говорит неправду, но, не потрудившись сообразить, что имеет дело с евреем, да еще и скоробогатыком, слова его приписывал ошибке, а не злему умыслу.

- Ты слишком осторожен, чтоб не сказать: боязлив,- сказал пан Ян Гершку, когда он, добившись честного слова, что никто другой, кроме его самого, не будет арендовать мельницу, выразил свое всегдашнее мнение о ее негодности.- Ты попусту боишься,- продолжал пан: - В мельнице все прочно. А если и понадобятся починки, то ничтожные.

74 - Юридично (лат.).- Ред.

75 - Фактично (лат.).- Ред.

- Пане ласкавый!.. И вы твердо верите в свои слова? - спросил Гершко, подзадоривая.

- Как в то, что говорю это я, а не ты.

- Хорошо,- сказал Гершко,- если же я предложу одно условие для помещения в контракт, вы его примете?

- Какое?

- Чтоб починки были на ваш счет.

- Отчего же? согласен.

- А если я поставлю, что за каждый день простоя свыше семи дней вы будете платить мне убытки - вы и на это согласны?

- И на это согласен, потому что в мельнице все прочно, и если она должна будет остановиться, то на день, на два, не более.

- А я говорю, что вы ошибаетесь.

- Наш контракт,- сказал подзадоренный пан,- некоторым образом будет представлять собою пари. Увидим, кто выиграет.

Гершко не забыл этого разговора и, при заключении контракта на аренду мельницы, действительно, было поставлено условие, что починки должны производиться на счет владельца и что, в случае остановки мельницы по причине порчи, владелец обязывается платить арендатору за первую неделю, после семи дней простоя, по пятидесяти копеек с пуда несделанного помола, за вторую вдвое, за третью втрое и т. д. Пан Ян так был уверен в ничтожности этой статьи, что подписал контракт усмехаясь. Он не отказался бы подписать его и в том случае, если бы вместо первой полтины было поставлено несколько рублей. И он был прав. Мельница, действительно, была крепка и исправна; сама собою она не могла испортиться и в течение нескольких подобных сроков. Но отчего же арендатор не мог скрыть своей радости? Что ему обещало это условие? Чем радовало его? Тем, что было главною петлей в его сети,- петлей, которую пан Ян сам надел на себя. Гершку оставалось только затянуть ее, и за этим дело не стало.

Не будем говорить о мелких порчах, следовавших одна за другою немедленно после начала нового срока аренды. На исправление каждой из них требовалось по несколько часов и самая значительная задержала мельницу только на полсуток. Но

вот приближалась первая весна.

- Пане ласкавий! - сказал Гершко владельцу,- у нас лотоки небезпечны; опусть плохой. Чтоб не случилось беды.

- Не случится, будь уверен,- сказал пан Ян,- ничего не случится. Я недавно осматривал все и не нашел никакой порчи.

- Нехай будет по-вашему,- сказал Гершко и удалился.

Началась оттепель. Снег быстро таял, с гор полились шумные потоки, и вода в пруде поднялась до того, что при и самой малой волне перескакивала через плотину.

- Може, поднять смертельни заставки в опусте? - спросил Гершко пана.

- Удивляюсь твоей трусости,- сказал пан,- плотина стоит более сорока лет, выросла старыми вербами, а ты думаешь, что она может быть размыта. Не раз через нее по целым неделям лилась вода - и что же? Только споласкивала корни верб, и больше ничего.

- Нехай будет по-вашему,- сказал Гершко.

Где он провел наступившую ночь, никому не известно; но дома не был, хотя отправился из мельницы раньше обыкновенного. Гершка увидели только днем, когда он возвращался вместе с паном Яном к мельнице.

- Не предупреждал ли я вас,- говорил Гершко.- Вчера еще было время предупредить беду. А теперь любуйтесь!

Было чем любоваться! Вода проломала лотоки, разнесла колеса, повыворотила валы, мукомольные камни повыскочили из гнезд и убили нескольких *мукосиив* (рабочих). Пан грустно смотрел на страшно шумевшую воду, а Гершко заботливо осматривал след, ведущий к мельнице от прорванных лотоков. Это был его собственный след, и оставленный ночью; но никто этого не заметил, кроме самого ходившего. Он был расстроен, но никто не знал истинной причины этого расстройства. Темная ночь все покрыла, а темная совесть ничего не видела, кроме исполнения задуманного плана.

- Пан ласкавий! Jakże teraz będzie?⁷⁶ - спросил Гершко, подбоченясь.

- Не надоедай,- сказал пан.

76 - Як же тепер буде? (польськ.). - Ред.

- To moje ma przepaść?⁷⁷

- Молчи, или нагаями дам.

- Увидим, кому придется замолчать,- сказал Гершко.- Недаром я поставил в контракте начет за недомол. Я знал, что будет несчастье.

- Замолчишь ли ты? - вскрикнул пан Ян.

- Ну-ну, замолчу. Нехай будет по-вашему,- сказал Гершко и оставил пана в покое.

Но покоилась и мельница. Найденный Гершком и договоренный паном Яном мастер-еврей работал вяло, его плотники, умышленно спаиваемые Гершком, только портили материал, а кто не употреблял водки, те, будучи подкуплены тем же Гершком, убегали один за другим, унося с собою свои и чужие инструменты, какие могли захватить. По окончании полевых работ пан Ян употребил собственных крестьян, но и они то и дело вызывали со стороны механика жалобы на нетрезвое поведение.

- Научи же меня, что делать,- сказал пан Ян механику, когда этот пришел к нему в последний раз с жалобою,- сам видишь, что нагаи рвутся и лоз не стает.

- Что делать? - сказал механик.- Заключите мировую с Гершулом.

Пан пришел в отчаяние. Мировая пахла десятками тысяч, а оставить дела и идти своим чередом грозило еще большею лотерею. Что же делать? Пан Ян отправился в город за советом и запуганный чиновниками окончательно потерял голову. С горя запершись в кабинете и не допуская к себе никого, кроме Гершка и его механика, он не знал, что Клым нечаянно услужил ему своим суеверием, что крестьяне давно перестали пить, что плотина совершенно исправлена и починка мельницы приближалась к концу. Не этого хотелось Гершку, и он всеми мерами старался снова развить пьянство, но крестьяне упорно воздерживались. Иной, помягче характером, отсылал его к Клыму: «Поди,- говорит,- попроси Клыма, он всему голова. Если он в рот возьмет, то я выпью рюмку; если он выпьет рюмку, я проглочу полштофа». Но к Клыму идти нечего было. У него всегда был готов ответ: «Я

77 - То мое повинно пропасти? (польск.). - Ред.

никому не мешаю пить, но сам не буду гневаться господу богу. Поклялся не пить, и в рот не возьму». Мало того, что в Ст-вке перестали пить. По данному примеру трезвость быстро охватила значительный круг сел, что откуп струхнул и вмешался в дело, пригласив полицию. Действие крестьян представлено было как опасное волнение, а потом как явное сопротивление власти, и получено предписание арестовать зачинщиков. Вследствие этого Кльгм первый попал в тюрьму, а за ним еще несколько стариков. Ничего этого не знал и не подозревал запутанный и запуганный пан Ян. Взаперти ему грезилась пьяные крестьяне, а добрые евреи не выводили его из заблуждения. Напротив, они еще поддерживали эту ошибку и мрачное настроение духа, стремясь к одному к заключению мировой. И механик тем усерднее хлопотал о ней, чем энергичнее действовал откуп. Наконец мировая была заключена. Гершко отказался от аренды и от взыскания за недомол, а пан Ян уступил ему впредь на десять лет весь доход по селу Ст-вке. Для большего обеспечения себя Гершко взял с пана заемное письмо на такую сумму какая должна бы выручиться от десятилетнего владения Ст-вкою. Такую сделку пан Ян считал для себя выгодною, хотя и проклинал день, в который столкнулся с Гершком. Желая успокоиться, он сроком отдачи мнимого долга назначил востребование Гершка, потому и неудивительно, что угроза обирали произвела свое действие.

- Чего ж тебе хочется от меня? - спросил, наконец, пан Ян.

- Прикажете хлопам пить водку,- ответил Гершко.

- Как мне сделать это, если я столько из них пересек за пьянство? Не могу.

- Так напишите в стан, что хлопы сопротивляются вашей воле.

- Какой?

- Вы хотите, чтоб они пили?

- Лучше, если бы не пили; но, пожалуй, хочу.

- А они не пьют, значит, идут против вашей воли.

- Нет. Этого не напишу,- решительно сказал пан Ян.- Это значило бы представлять их бунтовщиками.

- А разве не так и есть? Ст-вские хлопы все до последнего бунтовщики. Некоторые уже и в тюрьмах сидят.

- Кто посадил? - спросил удивленный пан.

- Полиция,- ответил Гершко.

- Боже милосердный! А я ничего не знаю!

В это время слышался дорожный колокольчик. Звон его раздавался все ближе и явственнее. Дети оставили игры, собаки начали лаять. Гершко и пан прислушивались. Вот показался на обывательских пристав, едущий и палацу.

- Ко мне? - спросил сам себя пан Ян.- Зачем это?

Вошедший пристав решил вопрос. Без оговорок он объявил, что в Ст-вку, как центр, из которого крестьянские волнения распространились и на другие села, послана военная команда, и дал пану Яну повестку о присутствии при экзекуции.

- Не буду,- откровенно сказал пан Ян. И вот со стороны экономики назначен был Гершко.

V

Так-то стояли дела Гершка Смаркача - виноват - Гершула Шмаркенштейна, когда он заключил мировую с паном. Очевидно, было из-за чего ему торопиться, если он желал достигнуть цели. Пан мог выйти из кабинета - тогда всему конец. Но это не случилось, и Ст-вка поступила во владение так недавно *злыденного* еврея, на горе да на беду ее жителям. Стремясь, так сказать, из выброшенной на сметник старой подошвы надоить молока, Гершко не мог оставить без внимания такой источник дохода, как торговля водкою. Рассчитывал он, что систематически спаиваемые крестьяне мало-помалу передадут содержателю шинка все свое достояние; но тут Гершко встретился с таким препятствием, как холера. Запуганные ею крестьяне один за другим давали зарок, и с помощью убеждений священника вскоре в Ст-вке не было ни одного, кто бы не произнес клятвы не лить до тех пор, пока не минует гнев божий. Хотя этот гнев божий, в виде холеры, грозил и Гершку не менее, чем остальным, однако страх иметь недополненную калиту перевесил в еврее страх смерти. Побуждаемый корыстью, он подстрекнул откупных и, по их мне-

нию, все стало против Ст-вки. Пан Ян держался в стороне.

Спустя около недели после Ильи⁷⁸ ночь была без луны, почти темная; на небе не видно было и половины звезд. В это время в Ст-вке среди площади горел большой костер, а вокруг него сидели драгуны с трубками в зубах. В некотором расстоянии отдельными группами лежали и сидели крестьяне, вытребованные из других сел для присутствия при усмирении ст-вцев. Они группировались по селам и вполголоса разговаривали о начавшихся жнивах, о скотском падеже, об ожидаемой холере. Вокруг села цепью поставлены были солдаты и по временам доносилось оттуда монотонное «слушай!», постоянно тревожащее собак. Они сперва лаяли, потом начали выть. Грустное впечатление этой ночи таким образом еще увеличивалось. Не доставало только зазывания пугача.

К полуночи с запада поднялись тучи, в которых непрерывно сверкала молния. Вскоре послышались неумолкавшие раскаты грома и в воздухе запахло дождем. Вот дохнул прохладный ветерок и принес первые капли. Крестьяне набожно стали креститься. Вдруг раздался шум - и сразу полился дождь и через несколько секунд также сразу остановился. Костер зашипел и густым столбом повалил дым за ветром.

- Гонец пробиг,- сказали крестьяне.- Побачым, якый-то пан буде.

Не более как через минуту изредка начали падать крупные капли, сбивая пыль, которая вспыхивала, как порох на затравке. Чаше и чаще падали они, пока не обратились в тихий и теплый проливной дождь. Костер потух, и только молния обдавала своим резким светом дрожавшие кучи лоз. И крестьяне, и солдаты были рады божьей благодати, не виденной с мая месяца... Сельская котузка была без окон, а потому освеженным воздухом наслаждались и сидевшие в ней узники, Клым и другие. Они были приведены из города для примерного наказания как зачинщики. Только Гершко с семьей не участвовал в общем наслаждении. Боясь грома и молнии, евреи поглубже зарылись в бебехы и про-

78 - ...после Ильи...- Йдеться про релігійне свято, яке відзначалося 20 липня за ст. ст.

падали от блох и духоты.

На следующий день солнце будто выпрыгнуло из-за горизонта. Весело улыбаясь, шло оно, как школьник за первой наградой; не лучи, а цветы рассыпало оно, не теплотою грело, а любовь, не светом светило, а радостью своею. С разрежением легкого тумана, которым подымалась от земли упавшая ночью влага, вся природа просиявала. А сполосканные верхушки дерев будто чванились перед травой, что она под туманом, они же выше. Славно, отрадно началось утро... но чем кончилось - не дай бог!

В полдень того же дня площадь в Ст-вке была пуста. По ней бродили только собаки, нюхая красную грязь, в которой валялась оторванная дверь. Это была одна из боковых церковных дверей (прывратныця) с изображением Кунцевича.⁷⁹ Во времена блаженной унии⁸⁰ она стояла в иконостасе, а православный священник снял и выбросил ее в колокольню. Здесь она и валялась, пока не пригодилась для расправы, причем Иосафат буквально «ударил лицом в грязь», так как изображение его было обращено к земле. Крестьяне в это время толпились у шинка, запивая мировую с Гершком.

- Не гнивайтесь, панове громада! - упрашивал он.- Тут ни я не виноват, ни пан. Такой закон, что же делать? Обвиняйте закон, а мы ни в чем не виноваты. Ховай, боже! Закон виноват, на него и гнивайтесь. А мне, Иване, буде гуска?

- Буде, Буде,- отвечал Иван, шатаясь.- Буде й дви.

- Грыцьку! А пид хуру до Адесу станеш? - продолжал Гершко.

Не прошло и месяца с этого тяжелого дня, как все крестьяне в Ст-вке очутились по уши в долгах. Гершко торжествовал. Сура благоговела, и все пошло, как везде в подобных случаях.

79 - ...с изображением Кунцевича...- тобто зображенням причисленого Ватіканом до культу святих полоцького архієпископа Йосафата Кунцевича (1580 - 1623), фанатичного прихильника церковної унії.

80 - ...во времена блаженной унии...- йдеться про Брестську церковну унію 1596 р., яка організаційно закріпила об'єднання православної церкви на Україні та Білорусії з католицькою і сприяла намірам польських феодалів зміцнити їхнє панування на цих землях, розірвати союз українського і білоруського народів з російським.

VI

Не один месяц провалялся Кунцевич на площади. Никто его не поднимал, даже не прикасался к доске. От влияния погоды дерево потрескалось, посерело; а дверь продолжали обходить. И никто не мог придумать, какое сделать из нее употребление. Как, наконец, в границах Ст-вки найден неизвестный человек мертвым.

- Так и быть,- порешила громада.- Сделаем гроб из *той* доски.

Все знали смысл этой фразы - и Кунцевич был потревожен.

Найденный мертвец был погребен, след Кунцевича на площади затоптан копытами, обида зажила и оскорбление забыто. Но самый факт держится в памяти многих и очень многих.

Гершко дожил в Ст-вке до срока, и что имение пана Яна не продано с торгов, тому виною православный священник, который раскрыл глаза помещику. В настоящее время Гершко, говорят, владеет обширным имением в одной из западных губерний, под своим ли именем или под чужим, о том ничего не известно. Во всяком случае он выезжал из Ст-вки не *бидою*, как въезжал в нее, а на беде разоренного крестьянства.

ГАВРУСЬ И КАТРУСЯ

I КРЕСТИНЫ

Просим снисходительного читателя заглянуть с нами в прошлое - лет за сорок назад.

В то время красовалось в Подольской губернии небольшое, но богатое и все в садах село, положим, Каташин. Таких сел в Подольской губернии немало. То, о котором идет речь, обогатилось во время Колиивщины, потому не походило на другие соседние села. Ободранных хат в нем не было видно, и церковь была под гонтом, со всею утварью, даже с полным кругом церковно-богослужебных книг, с металлическими подсвечниками и со свечами воску ярого. Оно принадлежало пану, который пал под Дашевом,⁸¹ и потому было конфисковано. Еще, впрочем, пан благоденствовал, когда тамошний священник, о. Герасим, вышедший, по обыкновению, из подьячего в дьячки, потом в дьяконы, наконец удостоенный и священнического сана, молился в церкви о благополучном разрешении своей жены от бремени. Лет за семь супружеской жизни она впервые готовилась быть матерью, потому будущий отец тем усерднее молился. Но вот пришел *польський наймит*, перекрестился и, завидя огонь в алтаре, посмотрел на *привратницю* - то есть в боковые врата. Священник стоял на коленях.

- Батюшка! Батюшка! - почти шепотом произнес наймит, не смея громко говорить в церкви. Молившийся не услышал.

- Батюшка! - опять сказал наймит несколько громче, но, видя, что священник и теперь не услышал, отошел и так кашлянул,

81 - ...пану, который пал под Дашевом...- Йдеться про учасника польського визвольного повстання 1830 р., яке, розпочавшись в Королівстві Польському, частково перекинулось і на українські землі, зокрема на Поділля. Під Дашевом (нині Іллінецького району Вінницької області) відбулася велика битва польських повстанців із царським військом.

что чуть пояс не лопнул. Священник услышал и вышел из алтаря.

- Что скажешь? - спросил он.

- *Імось*⁸² казали кланятись и просили додому,- ответил парень.

Священник, прочитавши благодарственную молитву, быстро пошел домой. Попадья разрешилась дочерью; дело оставалось за именем. Баба-сповитуха убеждала назвать новорожденную именем празднуемой святой; в противном случае, говорила она, дитя не будет религиозным. Но в тот день женского имени не было.

- Ищите вперед,- сказала баба,- чтобы дитя всю жизнь шло вперед.

Отец Герасим избрал имя «Екатерина».

- Ох, лихо! - сказала баба.- Назад, да и еще так далеко! Катерины аж у пилипівку, а у нас не за горами великопісне пущання. Бедное дитятко!

Но о. Герасим настоял на своем. Дело в том, что у него была в свое время любимая сестра, носившая это имя. Умирая, она просила брата назвать Катериною первую дочь, которая родится у него. Он в то время был еще парубком и назывался Герасько.

- Так обіцяєш, Гераську? - спросила умирающая.- Не забудь же, братику, слова свого; а я його не забуду і до бога занесу, а у тебе на родинах буду.

Это были последние слова, слышанные Гераськом от сестры в той самой комнате, в которой он теперь стоял. Живо вспомнил он последнее свиданье с покойницею, ее просьбу, свое обещание; воображение восстановило голос, так давно слышанный, и милый облик, так давно виденный.

«Может быть, души сестриной и нет между нами,- думал о. Герасим,- так будет хоть имя ее. Я все-таки буду иметь право думать, что покойница была у нас на родинах, на крестинах, и после, и после... А если она здесь, то не прогневается: ее желание исполнено».

Дом, в котором жил о. Герасим, был построен около половины прошлого столетия и был низкий, длинный, с высокой крышей и с *піддашками*. По обе стороны двери, ведущей в сени, он

82 - В некоторых селах и теперь так же титулуют попадей.

имел по два окна в четыре стекла и на *причілках* по одному такому же окну. На крыше белела плетеная труба. Справа, слева и на затылке были разные хозяйственные постройки. Множество следов разного скота доказывало, что владелец дома человек достаточный. То же доказывалось еще более целой стаей собак, которых было штук до четырнадцати. Значит, было что стеречь, если требовалось так много сторожей. Действительно, было что стеречь, потому что о. Герасим насчитывал пять предков, один по другому священствовавших в том же приходе. А так как по обычному праву у нас последнему дитяти остается дом и вся наличная движимость, то благодаря приплоду в последнем поколении было даже чем похвастать.

- Коли есть, то шелесть! - воскликнул о. Герасим, спустя около четырех месяцев после рождения Катруси, и разослал гонцов в разные стороны просить знакомых священников и родных к себе на крестины. В назначенный день было зарезано несколько овец, гусей, уток, индюков, множество кур, заколот боров и оставлена дома телка: авось понадобится. Попадья пригласила для *оказіі* умелых молодежи - и пошла стряпня в кухне и в саду. В саду? Но сад ли то, где ни одно дерево не сажено, а все взялись бог весть откуда? Никакого порядка, никакой симметрии; но сколько естественного разнообразия!

В этом-то несаженном саду был разложен костер, и в громадных двуушастых горшках готовили кушанья для простонародья. Среди общей суматохи расхаживал хозяин, заложивши руки в карманы нового подрясника. Задумавшись, он, несмотря на лай собак, не догадывался, что кто-то приехал. Но вот бежит оторопевшая служанка.

- Батюшка! Батюшка! - начала она издали, но кончила возле самого священника: - Благочинный приехали.

- Иду,- ответил о. Герасим и тотчас же отправился, приглаживая косы, бороду, поправляя подрясник и особенным образом откашливаясь.

Благочинный был прошен в кумы и охотно приехал: но, узнавши, что крестить будут девочку, стал отказываться от кумовства.

- Бог сотворил Адама, и Еву сотворил он же,- сказал хозяин,

вообразивши, что благочинный отказывается, не желая быть крестным отцом девочки.

- Так,- сказал благочинный,- господь бог создал первых людей; но он же и сочетал их браком. У меня сын, у вас дочь; а что, если они полюбятся?

- А мы будем кумами? Гм,- призадумался хозяин,- кум не сват.

- То-то же,- сказал благочинный.- Итак, отложим попечение.

- Буди мне по глаголу твоему,- сказал о. Герасим. И обнялись и поцеловались.

Вошла хозяйка, одетая по-шляхетски и с повязанной платком головой. Поздоровалась с гостем, причем они поцеловали друг друга в плечо.

- От що, попаде! - сказал о. Герасим,- отец благочинный не согласны крестить у нас.

- Чем же мы согрешили, чем прогневили ваше превелебие? - сказала хозяйка гостю.

- Ха-ха-ха! - засмеялся благочинный,- ха-ха-ха! А зачем у вас дочь? Га? Зачем? А сын у меня зачем? Моему Гаврусю шесть лет; вашей Катрусе будет как раз шестнадцать, когда ему придется жениться; что же будет, если они захотят, чтобы мы были сватами? Га? Что?

- На все воля господня,- сказала хозяйка,- не смеем богу противиться, а вам возражать.

К тому времени кончилась обедня, и вошел священнодействовавший священник. Вскоре принесена была купель, и пришел дьячок с поддячим и с школярами. Так как еще кумовьев не было, то дьячок с своими начал петь разные песни, *нагласники*, *наславники*⁸³ и т. д.

Благочинный оперся плечами о стену и рассказывал разные небылицы, если рот не был занят и певчие молчали. Хозяин сидел перед столом, подливая дорогому гостю, а третий священник закусывал молча, только иногда усмехаясь. Не успели они и по третьей осушить, как начали собираться гости, и часа через два

83 - Плохие вирши, распеваемые на гласы. Нагласниками называются те, которых напев схож с гласами «Господи воззван», и наславниками те, которых напев схож с гласами «Бог господь и явился нам».

обе комнаты были битком набиты. Наконец, окрестили дитя, и началось угощение. Церковный староста и жена его на дворе потчевали и припрашивали и простой народ и нищих, а в комнатах ухаживали за гостями хозяин и хозяйка.

- На одной ноге только гуси стоят перед морозом,- приговаривал хозяин,- предлагая выпить по другой.

- Бог в троице пребывает,- приговаривала хозяйка, предлагая выпить по третьей.

Помянули и четырех евангелистов, и пять книг Моисеевых, и шесть будних дней, и седьмое воскресенье.

- Нет,- сказала хозяйка,- не воскресение на семь, а вот что. Премудрость созда себе дом и утверди столпов семь.

- Bravo! Bravo! - закричали гости и пристали к хозяйке, чтобы она показала пример.

Вместе с этим пели, шумели, рассказывали разные разности, и время незаметно шло и шло. Кто имел слабую голову и подался, тот отправился в клуню, где заблаговременно было постлано душ на сорок. Были, однако, и такие, которые и после сорока мучеников оставались как ни в чем не бывало. Тогда кто-то вскрикнул:

- За всех святых!

- О! - подхватил хозяин.- В самом деле?

Предложение было принято.

- Сейчас,- сказал о. Герасим и отправился к жене за ключами. Когда он воротился, то все, побравшись за руки, бросились из комнаты и журавлем пошли по двору, то есть вереницею, быстро кружась и крича «кур-кур». При этом захватывали всех попадавшихся гостей, без различия пола, и ключ таким образом увеличивался и увеличивался. Спавшие слышали крик и выползли, кто из клуни, кто из соломы, кто из сена, и с тем же криком бросились к гурту. И пошел журавель на славу! Веселая эта забава, но требует здоровья, которым не обладают наши современники. Мы точно наседка, только что слезшая с гнезда; а предки были не то. Красные, как петухи, здоровые, как медведи, они в шестьдесят лет выкидывали такие штуки, на которые неспособны теперь и шестнадцатилетние юноши.

Пока журавель долетел до погребя, куда направился, то многие попадьи потеряли платки с плече. И когда мужчины сходили в *преисподняя*, они, под предлогом поднять хустку, уклонились от шумной компании. Это, однако, не помешало им составить свой отдельный кружок в комнате, возле наливки и варенухи, и с завистью прислушиваться к взрывам хохота мужей. Как вот входит один из мужчин.

- Бабы,- начал он,- пожалуйста к нам на магарыч! У нас сватанье.

- Кого вздумали сватать? - спросили попадьи.- Дух святой з нами, чорта на Сидоровій козі?

- Я не шучу, пойдёмте,- сказал вошедший.

- Пойдем посмотрим,- сказала хозяйка.

- Зачем мы были вам нужны? - спросила хозяйка.

Оказалось, что сватали Гавриила, или, как называл его отец, Гавруся, к новокрещенной Катрусе. Этот Гаврусь был шестилетний мальчик, бойко ездивший верхом на хворостине и часто получавший от отца побои за то, что, бросая камнями в воробьев, никогда не попадал в птицу, а всегда еврею в голову. Он был привезен на крестины и был посторонним наблюдателем всего происходившего. Благочинный, заметивши своего сына верхом на собаке, сказал:

- Чем не молодец? Га? Хороший жених?

- Молодец-то молодец,- сказали ему,- а невеста чем не хороша? Как огурчик!

- То-то же! - заметил благочинный и обратился к хозяину: - Так будем сватами?

- То й будьмо,- сказал хозяин,- а старостів не вменшай боже, аж густо.

- По рукам,- сказал благочинный.

- И по чаркам,- сказал о. Герасим.

Ударили по рукам и взялись за рюмки.

- А свахи? А свахи? - спросил кто-то.

Тогда-то послали за женщинами. Но когда они пришли, то погреб оказался тесным, потому все гуртом отправились в комнаты кто с бутылкой, кто с двумя, а хозяин катил целый бочонок.

Так отбывались крестины в старину и праздновались не один день. Следующий за крестинами день назывался *похрестини* и проходил так же, как и первый. Затем иногда шел кутеж еще несколько дней, только уже в меньших размерах. Это как потому, что не каждая голова могла выдержать такую нагрузку, так и на основании, выраженном в поговорке: «Гість, на перший день, як золото, на другий, як срібло, на третій, як мідь - хоч додому їдь». Впрочем, так как здесь праздновали, кроме крестин, и сватанье, то все были рады шутке и кутили от воскресенья до пятницы. Хоть за два дня до наступавшего праздника надо было расстаться с гостеприимным хозяином, чтобы не трещала голова во время богослужения! Впрочем, *доріженьку погладили* и, пропевши «О всепетая мати», отправились по домам.

II СВАТЫ

Прошло шестнадцать лет. В это время произошла большая перемена в обычаях, взглядах - во всем. Катруся уже почти презирала то, чем гордилась ее мать; зато Гаврусь презирал то, перед чем трепетал его отец. Где прежние действовали поклоном, выигрывали молчанием, там начинали прибегать к силе и к угрозам; где были только базилианские школы,⁸⁴ явились духовные училища и семинария в Каменце. Влияние поляков, однако, не было парализовано, хотя ограничивалось только действием на женский пол, отчего в семейном быте нашего духовенства произошел развал: дочери приняли польский язык, сыновья стали говорить по-русски, тогда как родители могли объясняться только на местном наречии, с примесью церковных слов и целых выражений.

- Столпотворение вавилонское,- твердил отец Катруси.

84 - Базилианские школы (василіанські школи) - навчальні заклади, створені у XVIII ст. на Україні чернечим орденом василіан. У цих школах панувала схоластика, учнів виховували в дусі релігійного фанатизму.

- Смещение языков,- подтверждал отец Гавруся.

- Светопреставление,- вздыхали попадьи.

- Jeszcze co!⁸⁵ - замечала про себя Катруся, которая не смела являться к гостям и слушала отзывы, смотря и в щелку из другой комнаты.

- Все вздор против вечности! - говаривал в подобных случаях Гаврусь, тогда уже кончивший курс семинарии.

В такую-то пору однажды отец Катруси ходил по току, громко читая молитвы и пересыпая их разными возгласами насчет разного домашнего скота. Вдруг залаяла собака, потом другая, наконец вся стая подняла гвалт. Катруся, вместе со служанкой стиравшая белье в кухне, бросилась к окну.

- Чужой человек,- сказала она.

Попадья, не оставляя стряпни, послала служанку проводить незнакомца.

Это был крестьянин с проседью, с красивым, умным лицом, одетый в новую свиту и подпоясанный *турецким* зеленым поясом.

- Дома батюшка? - спросил он служанку.

- Дома,- ответила она.

- Я с письмом,- сказал пришедший.

И в настоящее время письмо в деревне - точно комета в небе, все заговорят, а тогда было оно еще удивительнее. Катруся наскоро вытерла руки и вышла на крыльцо, где стоял пришедший; мать ее тоже вышла, оставив горшки в печке. Спрашивают, откуда, от кого? А служанка давно была послана сообщить *панотцю* о новости. Вот пришел и батюшка, держа в левой руке цветной платок, а в правой - щепотку табаку и между мизинцем и следующим пальцем - табакерку.

- Благословите, батюшка,- сказал крестьянин, низко кланяясь.

Батюшка понюхал табаку, щелкнул пальцами, вытер нос, переложил табакерку в левую руку и благословил.

- Что хорошего скажешь? - спросил батюшка.

- Я з листом до вашого благословенства,- ответил спрошен-

85 - Що ще (польськ.). - Ред.

ный, вынул из-за пазухи чистый утиральник и начал разматывать его. В другом конце было письмо с церковной печатью.

- Кто ты, дядьку, и от кого письмо? - спросил батюшка.

Из ответа оказалось, что прибывший был на днях избранный церковный староста того прихода, где священствовал отец Гавруся, от которого и был послан с письмом.

- Прочитаем, что пишут,- сказал батюшка, взявши письмо, и пошел в покои, а староста сел на крыльце.

Прошло не менее получаса, пока батюшка нашел очки с одним стеклом и разобрал письмо. Постоянно прояснявшаяся во время чтения физиономия свидетельствовала, что письмо было приятного содержания.

- Попаде! попаде! - позвал, наконец, батюшка, снимая очки и вкладывая их вместо футляра в требник.

- Сватают твою дочку,- сказал он вошедшей попадье.

- Она столько моя, сколько и твоя,- заметила попадья.

- Угадай, кто? - продолжал батюшка, не обращая внимания на замечание жены.

Цикавая (любопытная) Катруся, услышавши зов отца, бросилась из кухни и стала под дверь в ванькире прежде, нежели мать ее перешла через сени. При слове «свадьба» она вздрогнула и едва могла держаться на ногах. И тряслась, и млела, и тепло было, и холодно, и радовалась, и в то же время хотелось плакать. «Замуж» - великое дело, а еще больший переворот в жизни. После брака одна цель - хлопоты, одно будущее - гроб; до брака же цель и будущее - самый брак. А какое значение он имел для поповен, видно из поговорки: «Хапається, як попівна заміж». Не удивительно, что Катруся была поражена. Но кто же этот сват? Катруся никого не знала из молодых людей, даже видела только одного Гавруся, но не говорила с ним; так кто же сватает ее? Гаврусь. Он не забыл сватанья на крестинах, и когда, по окончании курса, пришла пора жениться, напомнил о нем отцу своему.

- Правда, что ты посватан,- сказал отец и послал свату письмо.

- Так что же? - спросил отец Катруси, пересказавши ее матери содержание письма.

- Воля божья та твоя,- ответила она,- по-моему, Катрусе нечего и желать лучшего жениха.

- И я той же мысли,- сказал батюшка,- а щоб полюдськи було, нехай приїде з сватами.

- Авжеж не годиться без того,- сказала матушка.

Катруся, дослушавши до конца, света перед собою не взвидела и не слышала земли под ногами. Сердце начало биться так сильно, что с каждым ударом его она вздрагивала всем телом. В ушах стучало, как от удара, щеки покраснели, губы побелели, и зуб на зуб не попадет. Едва-едва она могла отделиться от двери и шатаясь побрела на ток. Там, забравшись между стогов пшеницы, присела она на земле и дала слезам волю. Отчего лились они, плакавшая не знала. Она не горевала, напротив, была даже рада; она не боялась, а была даже успокоена близким осуществлением постоянной мечты: однако слезы катились, но не от радости, не от исполнения желания, а просто так себе. Тем временем старосту пригласили в покои, усадили и употчевали до *положения риз*. И лошади не были забыты - им дали овса снопами.

Отпустили старосту только на другой день, с ответным письмом. Если бы староста и ничего не знал, то по головной боли мог бы догадаться о предстоящей оказии. Но он все знал, а пославшие его узнали ответ еще до прочтения письма по багровому лицу и нетвердой походке посланца.

III ВСЕ ПРОПАЛО

Три года жил Гаврусь - уже о. Гавриил - со своей женой, как голубь с голубкой. Если приходилось ему уезжать из дому - а это ему часто приходилось, потому что к приходу принадлежало несколько приселков,- так если ему приходилось уезжать на день, на два, то жена провожала его со слезами, как в рекруты, и по возвращении непременно встречала на дворе. И так-то была рада! Навзрыд плакала от радости.

- Господи и владыко живота моего! - говаривал обыкновенно Гаврусь,- зачем же плакать, глаза портить? - И вытирал слезы и целовал в глаза.

- Есть не хочешь ли? Не хочешь ли пить? - спрашивала Катруся, прижимаясь.

И о. Гавриил принимался есть и пить, был счастлив и ложился спать. Катруся тотчас закрывала ставни, ходила не иначе как на цыпочках и досадовала даже на мух, если они жужжали хотя бы и в другой комнате. И хозяйка она была аккуратная, работающая, понимающая свое дело. Оттого Гаврусь и блаженствовал, ничего не замечая, даже вздохов и старухи, нянчившей его когда-то, а теперь жившей тут в надежде нянчить второе поколение. Надежда ее, однако, не исполнялась, и старуха вздыхала. Вздыхала она и в первый год, вздыхала и во второй, а к концу третьего вздохи участились - особенно, если нянюшка оставалась наедине с батюшкой. Впрочем, батюшка, привыкши к ее, вздохам, не обращал на них никакого внимания: «Господи и владыко живота моего... Пусть себе»,- думал он. Однако иногда и заговаривал со старушкой. Так случилось и теперь. Она вздохнула, а он и спросил:

- Чего вам, нянюшка, недостает, что вы вздыхаете и вздыхаете?

- Ех,- ответила старуха,- не мені б казати, а не вам слухати.

- Однако что такое? Все то же?

- От якби-сьте послушали мене дурної та плюнули на сю парافیю, то найлучче б зробили: бо тут не буде вам ні щастя, ні спокою.

Гаврусю достался приход один из лучших в епархии народ богатый, земли много, помещик жил или в Варшаве, или за границей, а управляющий уж очень усердно ухаживал за священником и угождал ему. Такие приходы попадаются редко. Если бы о. Гавриил вздумал оставить свой, то, наверное, попал бы в худший. Тем оригинальнее показался ему совет няни:

- Отчего же так? - спросил он.

Старуха стала на колени, перекрестилась, поцеловала землю и сказала:

- Бог свидетель и святая земля, что только из желания добра

скажу вам всю правду: вы из дому, а эконо́м в гости до нашей матушки.

- Дальше? - спросил Гаврусь, схватившись с места.

- Дальше... дальше,- продолжала няня,- дальше... Что дальше?.. Подстерегите, так сами узнаете: стыд и срам дальше.

Будто ветер повеял из сердца, когда Гаврусь услышал эти слова. Насколько он любил жену, настолько же вдруг охладел.

- Смотри же,- сказал он няне,- если ты солгала, то убью! Понимаешь?

Старуха еще раз поцеловала землю и поклялась, что говорит чистую правду. Помутилось в голове у несчастного мужа. Несколько дней ходил он сам не свой, не желая верить няньке, но не смея не верить. Катруся заметила перемену в муже и увивается возле него, как пчела возле цветка:

- Здоров ли ты? Что у тебя болит? Не выпьешь ли мяты, шалфея, липового цвета?

«Сердце у меня болит, душа болит», - думал батюшка, а жене ответил:

- Я здоров и ничего не хочу.

- Какое здоров? - сказала Катруся сквозь слезы.- Посмотри на себя в зеркало. Ты бледен, как мертвец.

- Пустяки,- сказал Гаврусь и думает: «Не врала ли няня? Чего бы жене плакать, беспокоиться, если бы она полюбила другого. Бабе, вероятно, померещилось, а я и поверил».- Я тебе сознаюсь,- сказал он, наконец,- отчего я так грустен...- Но тут же спохватился: а если няня говорила правду? И сказал не то, что сначала хотел сказать.

- Сознайся,- просит Катруся.

- Меня назначили депутатом на одно следствие; так мне и грустно, что надо ехать из дому, что должен разлучиться с тобой, может быть, на целый месяц.

Катруся не могла поверить, правду ли говорит муж, потому что была неграмотна. Мать ни под каким видом не соглашалась обучить ее грамоте: «Зачем это? Чтоб вести переписку с кавалерами? Не нужно этого дива. Я век прожила счастливо, и мать моя, царство ей небесное, тоже, и бабушка, и все, не зная грамо-

ты, пусть так и дочка растет. Грамота - дело мужей, а наше - ко-черга», - твердила мать Катруси, поэтому она и осталась неграмотною, что послужило теперь на руку ее мужу. Он показал какую-то бумагу с печатью благочинного, назвал ее предписанием и сел, призадумавшись. Катруся так и повисла ему на шею и за слезами не может словечка промолвить. Опять растаяло сердце у Гавруся, опять он чуть-чуть не проговорился, однако устоял на своем: «Надо непременно удостовериться. Если она не виновата - чтобы даром не подозревать, а если виновата - то для чего мне греть змею за пазухой?»

На следующий день, пообедавши не позже девяти часов утра, Гаврусь уехал. Катруся со слезами проводила его до ворот и долго-долго смотрела вслед, пока видно было. Батюшка видел это, но уже не прежние мысли сновались в голове. Пока он видел жену, пока видел ее слезы, слышал ее голос, сердце таяло, когда же очутился за селом, среди поля, то явилась злость, остервенение. «Убью, - думал он, - обоих убью, если няня говорила правду. Кстати и сабля при мне. Так и пронжу обоих. Господи и владыко *живота* моего!»

В нескольких верстах от прихода Гавруся жил его школьный товарищ. К нему-то Гаврусь и велел ехать. Заговорившись, он и не оглянулся, как настал вечер. А ночи-то он только и ждал. «Чем это все кончится? - думал он, отправляясь домой. - Господи и владыко *живота* моего!»

Вот он уже и в границах своего прихода, вот и село видно, наконец и дом. В селе нигде не было огня, даже в корчме, только дом священника был освещен.

- У вас люминация, сказал дьячок, по тогдашнему обычаю взятый вместо кучера, - гости, вероятно.

Гаврусь давно это видел, давно догадывался, что гости есть, но кто? Вот вопрос, за немедленное разрешение которого Гаврусь не пожалел бы отдать и последнюю рубашку. «Что, если в самом деле эконо́м?» - спросил он сам себя и сжал рукоятку сабли.

- Трогай! - сказал батюшка.

Дьячок взмахнул кнутом, лошади дернули и оборвали постро́мки. Гаврусь и рад был этому случаю. Оставивши дьячка исправ-

лять порчу, он взял саблю и отправился домой пешком.

Дом, в котором жил Гаврусь, был не старинный - с ванькиром, а уже новый - о четырех комнатах. В средней из них была спальня. Кроме кровати, двух скамеек и стола здесь у порога стояла особого рода вешалка, называемая «шараги». Идучи домой, батюшка думал пробраться тихонько в спальню и, спрятавшись за вешалкой, дождаться развязки, а там... «Господи и владыко живота моего! - думал Гаврусь,- убью! обоих насмерть убью!» Задумавшись, он и не заметил, как огонь в доме был потушен, дороги между тем оставалось более версты. Не гнев, не злость, а целый ад загорелся в душе. Спичек тогда еще не было. Если не оказывалось огня в печи, то *кресали* и зажигали *сірник*, то есть лучину, одним концом обмакнутую в серу,- процедура, требовавшая двух-трех минут,- потому и боялся Гаврусь: слышат - и все кончится ничем. «Господи и владыко живота моего!» - подумал он и быстро пошел вперед, подобравши полы под левую мышку.

Ничего не значило хозяину пройти собственный двор, не взбунтовавши собак, а дверь в сени хотя имела изнутри деревянный засов, но он, по обыкновению, никогда не задвигался, потому ничего не значило пробраться и в сени. Мгновенно сообразил он, что делать, и отправился в кухню, дверь в которую была с левой стороны; перед глазами стояла дверь в спальню, а направо - в покои. Нянька не спала, когда вошел Гаврусь, и тотчас достала жарину из печи и начала *дути вогню*.

- Где же серники? - спросил батюшка, довольный, что не нужно кресать.

Старуха молча полезла за *комин*, потарахтела ложками, достала серник - и вскоре засветил каганец. Тогда старуха завидела обнаженную саблю, которой не замечала, пока добывала *світла*, и припала к ногам батюшки.

- Не дайте вмерти без сповіді! - просит.

- Насплетничала? - спросил он гневно, думая, что она о себе просит.

- Якби-то, та ба! - ответила няня.

- Был? Есть?

Старуха утвердительно кивнула головой.

- Ушел?

Старуха отрицательно кивнула головой.

- Веди.

Старуха взяла каганец и пошла прямо в спальню. Первый предмет, который бросился в глаза, была светская мужская одежда на шарагах. Гаврусь зашатался и не упал только потому, что был слишком близко от стены, на которую и оперся. «Господи и владыко живота моего!» - думал он, странно водя глазами по комнате. Няня стояла возле с каганцом в руках.

- Поставь на стол и принеси свечу,- сказал ей Гаврусь, несколько оправившись, и, когда старуха, вышла, посмотрел на кровать. Там лежала его Катруся с экономом, и преспокойно спят оба. «Господи и владыко живота моего! подумал Гаврусь.- Уснули, навеки уснули. Но прежде ангельской трубы потревожит ваш спокойный сон...»

Катруся потянулась и помешала Гаврусю продолжать горькую думу. Он начал пробовать лезвие сабли. Няня принесла восковую свечу и прилепила за столом на стенке к гвоздю, нарочно для того вбитому. Прилепивши свечу, няня трогалась с места.

- Бери каганец и ступай,- сказал ей батюшка.

- Дайте и саблю,- сказала она.

- Саблюю, если хочешь, то дам.

- Батюшка! а без исповеди помрут... Разве так следует? И лях, хоть недовірок, не должен бы умирать без покаяния; что же матушка? Подумайте. Не только этот последний их грех, но и все остальные вы примете на свою душу; сдержит ли она такое бремя? Только Христос господь мог страдать за чужие грехи; нам ли, грешным, равняться с ним?

Гаврусь, вместо ответа, взял няньку за рукав и выпроводил за дверь; затем подошел к кровати и смотрит на спящих. «Господи и владыко живота моего,- думал он,- хоть бы полюбила да что-либо стоящее! Не жаль упасти, та з доброго коня. Но променять честь и совесть на поцелуй уроды... не понимаю! Одно слово: лях!» - кончил он, перекрестился, перекрестил спящих и размахнулся саблей. «Без сповіді»,- прозвучало в ушах. Оглянулся Гаврусь, никого нет; посмотрел за шараги, заглянул под кровать, и

тут никого нет. «Господи и владыко живота моего!» - подумал он, растерявшись, положил саблю на стол и велел няньке поставить самовар.

IV РАСПРАВА

В ожидании самовара Гаврусь со стесненным сердцем ходит по комнате и ходит без мысли, без гнева, посматривает то на свечу, то на саблю, то на спящих. Вот остановился он, сложил руки на груди и смотрит на эконома. Лицо смуглое, все в оспинах, «наче на морді горох молотили»; усы рыжие, щетинистые. Разглядевши милого и сравнивши с красотой чернобровой Катруси, Гаврусь сделал гримасу, будто смеется; но глаза его не смеялись. Они были мутны, неподвижны; неподвижны были веки и брови; только сердце трепеталось.

- Господи и владыко живота моего,- тьфу! - плюнул Гаврусь и думает; «Вот для кого она пожертвовала всем, всем на свете, что украшает женщину! Какой вкус!.. Какова же должна быть душа этого уроды, если такая паскудная душа скрывается под красивой оболочкой тела Катруси! Любовь-то моя, любовь!»

И вместо ревности явилось презрение к Катрусе. Плюнул батюшка еще и отошел к столу, довольный, что не осквернил себя такой ничтожной кровью. Вскоре был подан самовар и началось чаепитие... Несколько раз подбрасывали уголья в самовар, подливали воды, а батюшка пьет чай и пьет. Уже и солнце обогрело землю, а он продолжает пить. Настала и сельская обеденная пора - то есть часов около десяти утра, а самовар все шумит на столе. Проснулся эконом еще до рассвета, но не смеет пошевелиться, не смеет дыхания перевести. «Хоть бы на мгновение ты вышел из комнаты,- думает он про Гаврусю,- я брязь в окно». Но батюшка хлебнет чаю и сидит или же ходит по комнате. Наконец, он велел подать водки и стал пить пунш, балуясь саблей. «Ну,- подумал эконом,- теперь мне аминь; упьется - и голову долой!» Про-

снулась и Катруся, но тоже не шелохнет. А солнышко так весело смотрит в окно, и в лучах его кружатся пылинки и исчезают в тени.

Выпивши стакана два пуншу, Гаврусь взял саблю и идет к кровати. Словно облитый кипятком, схватился экономом на ноги и стал, выровнявшись, как солдат. Он упал бы к ногам, но боялся подставить шею под удар, а потому скрестил руки на груди, жалко скорчил лицо и стоял, нагнувши голову в ту сторону, с которой пришелся бы удар, если бы Гаврусь вздумал нанести его. Полумертвая лежала Катруся, в полной уверенности, что, расправившись с гостем, хозяин точно так же расправится и с хозяйкой. Минута была ужасная.

- Доброго утра,- начал батюшка, неловко расшаркиваясь,- извините, господин хозяин, что я потревожил ваш сон.

Эконом бессмысленно *лунав очима*.

- Чаю не угодно ли? - продолжал батюшка.- Это не ваш, я привез с собою.

Эконом посмотрел на саблю - батюшка стоял, опершись на нее.

- Бойтесь наклониться? - продолжал батюшка.- Не бойтесь. Если вы дожили до этой минуты, то еще будете жить - некоторое время.

Эконом вздохнул, а батюшка положил саблю на стол и начал подавать ему одежду; потом велел подать воды, сам слил на руки, сам утиральник подал.

- Ксенже!..- начал эконом.

- Неловок? - подхватил батюшка.- Извините, не лакеем родился, не лакеем и вышел. Или еще чего-либо недостает?

- Ксенже!..- опять начал эконом.

- Ах да! Гребешка! - воскликнул батюшка.- Сейчас, только спрошу хозяйку.

Долежавши до этой поры, Катруся села на кровати.

- Господин хозяин гребешка требует,- сказал ей Гаврусь.- Я не знаю, где у вас гребешки.

Катруся не отвечала. Она была бледна, тряслась всем делом и как ни была охоча плакать, однако на этот раз слезы запрятались в самое сердце.

- Пустяки,- сказал далее батюшка эконому.- Причешетесь после, теперь не угодно ли чаю?

Что было делать эконому? Провалиться сквозь землю? Но она как нарочно не расступалась. И побрел он к столу, как на убой, и стал пить чай, но во сто раз охотнее пил бы собственную кровь.

Катруся сидела на кровати, закутавшись в одеяло. Гаврусь не обращал на нее ни малейшего внимания.

За чаем эконом освоился со своим жалким положением, а когда выпил рюмку-другую водки, то как ни было ему неловко, но все-таки отлегло от сердца. Оставалась тревожная уверенность, что даром не пройдет, однако первое впечатление миновало. Не без боязни вошла няня и удивилась, что грозивший смертью батюшка сидит за столом и разговаривает с тем самым, кого осуждал на смерть. «Не хитрит ли»,- думала она и посмотрела на матушку, которая все еще сидела в одеяле.

- Ви б ішли собі,- сказала няня батюшке,- пусть бы матушка хоть оделась.

- А в самом деле,- сказал батюшка эконому,- пойдем посмотрим, что делается на дворе.

Батюшка шепнул что-то няне на ухо и вышел с экономом. Как рад был эконом, что попал на свежий воздух! Тело тряслось от удовольствия, глаза скакали от предмета на предмет, доставляло приятность и то, чем никто не наслаждается, например изломанная ось, лежавшая под возовнею. Он не упустил бы случая улизнуть, но во дворе много злых собак.

- Куда направим стопы свои? - начал батюшка.- В клуню, что ли?

- Куда прикажете,- ответил эконом,- в клуню так в клуню.

- Пойдем и в клуню,- сказал батюшка, и оба направились к току.

«В клуне и расправа будет,- думал эконом, идучи,- но какая? Не думает ли повесить?»

Из клуни пошли в воловню, в возовню, в сарай для коров, были и в овечьем хлеве.

- В конюшню не угодно ли? - предложил, наконец, батюшка.

«Вот как,- подумал эконо́м,- доходит дело до конюшни, значит разгадка близка,- недолго остается думать, чем это кончится!» Он воображал, что конюшни везде играют такую роль, как в экономиях, но ошибся. Кроме чистоты и опрятности, эконо́м ничего не видел в конюшне. Имел ли Гаврусь цель помучить него-дзя, или что-либо другое, это известно ему одному; эконо́м, однако, был поражен встреченною везде аккуратностью. Все было прибрано, все находилось на своем месте, ничего не было забыто или заброшено. «Сам ли ты все это сделал, или ангелы к тебе на барщину ходят? - думал эконо́м.- Я с тысячами крепостных не достиг и сотой доли такого порядка. Не умеет же ценить тебя жена твоя, с жиру бесится». И устыдился он сам себя, начал раскаиваться, что сделал несчастным такого дельного человека, и возненавидел Катрусю: «Провались ты,- думал он,- если бы ты в свое время дала мне пощечину, а не поцелуй, я теперь с удовольствием рассказал бы все батюшке; и как был бы рад его счастьем, твоею гордостью! А теперь что? Повесить бы нас обоих на одном суку!»

Так рассуждал эконо́м, идучи с батюшкой от конюшни к дому, и с последней мыслью зашел в сени. О ужас! здесь стоит дьячок с веревками. Взглянул эконо́м вгору, а над сенями нет потолка, только балка перекинута для крепости. Виселица готова. Эконо́м мгновенно стал белее стены. «Jezus Marya! Повесят»,- подумал он. А батюшка обратился к дьячку.

- Готово? - спрашивает.

- Готово,- ответил тот.

- За дело,- сказал батюшка и стал у выхода из сеней. В то же время отворилась дверь из кухни, и вышел *піддячий*, пономарь и два отставных солдата.

- Господи и владыко живота моего,- начал батюшка к эконо́му.- Приятель мой! Вы отняли у меня все, что только может отнять человек у человека: жену, спокойствие, честь; отнять уж было и жизнь, ибо к чему она без друга? Вы растерзали мою душу, вы заслужили смерть - и только ваш же грех спас вас; я не захотел, чтобы вы умерли без покаяния. Кайтесь же. А пока я задам эпитимию.

Эконом, все воображая, что будет повешен, хотел упасть к ногам, но не успел. Едва он наклонился, как был схвачен крепкими руками солдат, мгновенно раздет, притиснут к земле и началась порка *посторонками*.⁸⁶ Откатали его на все бока, скакали на рядно и отнесли на фольварк.

- Наскочил на своего,- потешались крестьяне,- та як же описали! - восклицали они, осматривая избитое тело.

Расправившись с экономом, Гаврусь обратился к своей Катрусе. Она к тому времени давно оделась и с замиранием сердца ожидала в покоех, как поступит оскорбленный муж. Вот и входит он.

- И ты заслужила того же,- начал Гаврусь.

- Он меня подвел,- сказала жена.

- Как бы то ни было, ты плоть от плоти моей и кость от кости моей; я тебя бить не стану. Пусть накажет тебя собственная совесть. Она когда-нибудь пробудится. Со своей же стороны я тебе скажу, что между нами все кончено: я тебе не муж, ты мне не жена. Все, что у меня есть и что еще будет, все пополам. Это мои к тебе последние слова. Господи и владыко живота моего!

Кончивши, батюшка начал ходить по комнате, а Катруся, посидевши несколько минут, вышла в другую комнату. Развитая меньше всякой крестьянки, которые очень хорошо понимают худую сторону отношения полов, она пала вследствие, так сказать, *церемонного* воспитания. Не понимая пропасти, в которую свалилась, она еще не сознавала того, как была несчастлива, потерявши любовь мужа. Она боялась телесного наказания, боялась мужа, как имеющего право бить, но Гаврусь сказал, что бить не будет, следовательно, ладно. Катруся не любила никого. К мужу она привыкла, мужа было жаль - и только, что же касается эконома, то он воспользовался ее неопытностью, но не заслужил никакого расположения. Да ему этого и не надо было. Он всегда и везде называл Катрусю тряпкой, годной для приготовления бумаги, на которой можно выводить всякие каракульки.

86 - Позорное наказание *посторонками* - то есть веревками, висящими от колоколов, еще очень недавно употребляли по приговору общества. Ему подвергались особенно за нарушение целомудрия, за оскорбление родителей и т. п.

V

ЧЕМ ВСЕ КОНЧИЛОСЬ

Медленно шел год за годом. Гаврусь аккуратно делил каждую копейку, так сказать, каждое зерно и преисправно молчал. Катруся сперва не обращала внимания. Что муж встал из-за стола, когда она на другой день после размолвки села к обеду, это ее не слишком потревожило: «После пересердится», - подумала она и пообедала сама. Но когда это повторилось несколько дней кряду, когда, наконец, Гаврусь велел готовить для себя обед отдельно, Катруся начала беспокоиться, начала плакать. Более месяца она проплакала, но нисколько не исхудала, следовательно, не очень страдала. Эконом, наконец, выздоровел после бани и, к удивлению своему, был приглашен батюшкой в гости. Если бы он не боялся потерять место, то, очевидно, отказался бы, но, кравши в течение нескольких лет, боялся, что тот донесет, и пришел. Гаврусь встретил его как ничего не бывало, напоил, накормил и отпустил домой поздним вечером. Все это время Катруся, чтобы не встретиться с виновником своего несчастья, сидела на току между стогами и порядком продрохла, прежде нежели была отыскана нянькой, которая вынесла ей шубу. Другое посещение эконома, которое было еще продолжительней, она просидела в кухне на печи; после третьего решила уехать из дому.

- Я поеду к родителям, - попросилась она у мужа. Но он молчал. Катруся повторила просьбу, но он как будто не слышал. Тогда она прислала няньку.

- У меня нет жены, - сказал ей батюшка, - а та, которую называет матушкой, свободна не только ехать, но и не возвращаться.

После такого ответа Катруся уехала и долго не возвращалась. Гаврусь читал, хозяйничал и щелкал орехи, не говоря никому ни слова о постигшем его несчастье. Целых семь лет прошло, а никто не знал о случившемся, и Гаврусь не сказал ни слова жене. Она в это время жила то у своих родителей, то у родителей мужа, то у родных, то дома, нигде ничего не рассказывая. Мало-помалу, однако ж, стали догадываться родные, что случилось что-то

неладное. Наконец, все уяснилось, и на общем совете решили всем в назначенный день съехаться к Гаврусю, и пусть виновная перед всеми попросит прощения у своего мужа. В назначенный для этого день Гаврусь лежал на диване с книгой в руках. Весь стол и большая половина комнаты были забросаны скорлупой лесных орехов. Вдруг вскакивает нянька с веником.

- Гости едут,- сказала она.

Гаврусь поднялся, отряс бороду от скорлупы и посмотрел в окно. То приехали тесть с тещей.

«Слава богу,- подумал Гаврусь,- скорее день пройдет»

Спустя несколько минут приехала другая пара, там третья, там еще и еще. Вскоре в комнате не было места для прохода. И собрались все родные Катруси. То был день ее крещения, следовательно, и сватанья Гавруся. Гаврусь не думал об этом и вспомнил только тогда, когда тесть и все остальные начали поздравлять.

- Мы условились приехать сегодня и нарочно молчали, догадаешься ли сам,- сказал тесть.

- Ни за что не догадался бы,- сказал Гаврусь.

- Где же твоя Катруся? - продолжал тесть.

- Она у меня свободна, делает, что хочет; куда-то уехала.

- Давно ли?

- Не помню.

Теща начала плакать, ее примеру последовали остальные женщины. Заплакал, наконец, и старик тесть.

- Нам все известно,- говорит,- не скрывайся. Житье ваше пошло не по-божьему.

Гаврусь смотрел на слезы других, но сам не плакал. Остальные родственники стояли плотной стеной, заслоняя дверь в другую комнату. Вдруг стена раздвинулась, и откуда ни возмись Катруся да просто мужу к ногам:

- Прости меня, не сердись на меня!

- Простите, не сердитесь! - просят все.

- Я не знала, что делала,- продолжала Катруся, обнимая ноги.

Гаврусь стоял как вкопанный. Такая нечаянность сильно поразила его и почти отняла сознание. Он не мог сообразить, что

говорить и что делать.

- Виновата,- продолжала Катруся.- Побей, но не чужайся и прости!

- Да простите,- просят все.- Мы накажем ее перед вашими глазами, как вы наказали того изверга, только забудьте все.

- Прости, сын, ее прегрешение,- промолвил тесть, низко поклонившись.- Господь бог наградит тебя.

Гаврусь не мог перенести поклон старика и горько заплакал. Не удержались и остальные.

- Встань,- начал Гаврусь,- встань, Катруся!

Она поднялась на ноги и стала с потупленными глазами и лицом, запачканным пылью (дом был без пола). Ближайшая женщина сказала ей: «Оботри лицо». Но Катруся не слыхала.

Гаврусь продолжал:

- Я и прежде не сердился на тебя, но никогда не забуду твоего поступка: сердце не забывает обиды, хотя память дело головы, а не сердца. Буду говорить с тобой, буду, считать тебя своей супругой, никогда не буду вспоминать в упрек тебе о прошедшем, но и никогда не буду любить тебя. Ты раз потеряла любовь и раз навсегда.

- Постараюсь опять заслужить,- сказала Катруся.

- Любовь, какую ты имела и потеряла, никакими заслугами не дастся и никогда не возвратится.

- Довольно. Поцелуйтесь в знак согласия,- сказал тесть.

Примирившиеся поцеловались.

- Тепер посторонків,- начал тесть,- треба провчити.

- Если бы я хотел подвергнуть ее телесному наказанию,- сказал Гаврусь,- то сделал бы это давно уже, а теперь не позволю. Учить было тогда, когда она была только вашей дочерью, а теперь она, сверх того, моя жена. Поздно вздумали. Она уже наказана судьбою.

- Наказана, наказана и покаялась: чего же больше? - повторило несколько голосов.- Ставьте магарыч.

С этого времени Гаврусь уже не чуждался Катруси. Катруся употребляла все усилия, чтобы загладить свою вину; любовь, однако, не воскресла. Чем же все кончилось? Настоящей длинной

повестью, на которой читатель испытал силу своего терпения.

- Что же эконо́м, по крайней мере?

- Сослан в Сибирь за участие в первом повстанье.

АРЕНДАРЬ

I

За несколько лет до воссоединения униатов в с. Т-ве (в Подольской губернии) перед домом священника развевалась черная хоругвь.⁸⁷ Множество народа с печальными физиономиями толпилось на дворе, а несколько стариков даже плакали. Мало-помалу эти последние образовали отдельную кучку, вскоре перешедшую в кружок, и молча смотрели в землю. По всему заметно было, что их занимала одна мысль и что каждый знал, о чем думают остальные. Наконец один сказал, грустно качая головою:

- Якого-то тепер бог дасть нам панотця!

Общий вздох был ответом на его слова.

В этот день - день смерти священника - точно то же могло занимать и всех жителей села; но эта отдельная кучка особенно должна была интересоваться тем, какого бог пошлет панотца, потому что она состояла из крестьян, так называемых *церковных*. В незапамятные времена несколько приبلудивших семейств поселились на церковной земле, на краю села, принадлежавшего одному из графов Потоцких, и начали работать панщину в пользу священника, получив название *церковных*. Земли при церкви было много, но не столько, чтобы барщина могла быть обременительной, так что помещичьи крестьяне даже завидовали их доле. Особенно это должно сказать о времени еще не похороненного покойника. Бездетный старик, он помышлял только о смерти и хотя требовал *церковных* на панщину, однако выделял им сноп и угощал, как *толочан*. Случалось, что приглашал и музыку для молодежи. Молодые танцуют, поют, а старик с длинною бородою и выстриженными усами,- чтобы в чашу не лезли - сидит себе на завалине, опершись на *кислицьову* палку, и шепчет: «Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей!»

87 - ...перед домом священника развевалась черная хоругвь.- Чорна корогва вивішувалась перед будинком священика у випадку його смерті.

Нагуляются, наговорятся и расходятся по домам.

- С богом святым! - скажет им панотец и еще долго сидит на завалине, покашливая, или поковыляет на ток, или же к церкви; там молится возле могилы. В церковной ограде, много лет назад, похоронена была его жена, здесь же он надеялся лечь и сам, потому и любил проводить бессонные ночи, так сказать, на собственной могиле. А старику почти совсем уже не спалось. «Это потому,- объяснил он,- что скоро наступит для меня вечный сон». Вот и наступил он - вечный сон. Старик успокоился, а церковные призадумались: «Якого-то тепер бог дасть нам панотця».

Смерть священника навела раздумье и на Мошка-арендаря. Но его занимало не то, каков будет преемник покойника, а как бы воспользоваться хоть частью имущества, оставшегося по смерти бездетного вдовца. На то, что было в доме, в току и на дворе, на пасеку, на деньги и на все, вошедшее в завещание, рассчитывать было нечего: крестьяне слишком любили покойника, чтоб не исполнить его последней воли. Мошко это знал. Но узнал и то, что старик не сделал никакого распоряжения насчет посевов. Они поэтому должны были достаться будущему священнику, которого пока не было, следовательно, теперь как будто никому не принадлежали. Так почему же упускать случай и не воспользоваться по крайней мере этим? - порешил Мошко.

Хлеба тогда еще не начинали колоситься, но Мошко рад был воспользоваться и травой: «Уф, какое сено вышло бы! - восклицал он в уме своем,- как только добыть его?» Задавшись этим вопросом, он начал быстрее ходить по комнате и сильнее щелкать пальцами и чмокать языком. Лицо его при этом было так пасмурно, что даже Хана, достойная жена своего супруга, струсила и тихонько побрела из корчмы. Но вдруг физиономия просияла, Мошко весело защелкал пальцами и с улыбкою посмотрел на солнце. «Еще далеко до сумерков,- подумал он,- но делать нечего, надо ожидать». Но он был нетерпелив не менее того, как и жаден, потому сердился даже на солнце, которое, казалось ему, замедлило свой ход. Хана знала, что муж ее только в особенных случаях бывает в подобном настроении духа, и осторожно стала наблюдать. Подметивши, куда он бросает нетерпеливые взгляды

свои, она смиренно спросила: «Мошко, жизнь моя! Хотя не мне, глупой женщине, мешаться в дела умного человека, однако скажи мне, отчего ты так часто поднимаешь глаза на небо? Указывает ли тебе солнце час приезда дорогого гостя, или, глубокий план задумавши, ждешь поры для его исполнения?»

Мошко даже не посмотрел на свою Хану и, вместо ответа, молча поплескал себя пальцами по лбу. Она не поняла ответа без слов, но догадалась, что он должен быть глубокомыслен, и почтительно замолчала.

Наконец солнце стало заходить, и Мошко, как истинный еврей, принялся за вечерние молитвы. Однако и молясь, так был занят своею мыслию, что часто отворачивался от *мизраха* и кивался к западу. Чем ниже садилось солнце, тем чаще Мошко оглядывался, и физиономия его тем более светлела, а когда совсем скрылось, он даже улыбнулся. Наступила ночь - восхитительная подольская ночь. Сошел покой на божий мир, потухли огоньки в хатах, только на дворе священника горел большой костер, и в разных местах парубки весело начали перекликаться, собираясь на ночлег в поле. Нетерпеливый Мошка давно сидел уже перед корчмою и затрясся, услышавши голос ночлежников. Вот вдали раздалась песня, потом другая, затем игра на сопилке. Если бы кто заметил, с каким огнем в глазах Мошко вслушивался в пение, в игру, то удивился бы, вообразивши, что еврей так внимателен к холопской мелодии. Но напрасно. Он вслушивался не ради наслаждения, а чтобы по голосу, по искусству узнать вперед, с кем из парубков будет иметь дело,- надеяться ли ему или придумывать новый план. Наконец послышался лошадиный топот, и Мошко весело защелкал пальцами. Топот приближался, Мошко дрожал; вот и ночлежники подъехали.

- Чуєте, парубки! - начал Мошко.- А хто з вас мої конята поведе?

- Ніхто,- ответили парубки, продолжая путь,- нащо нам клопоту?

- Хлопоту-у? Який тут хлопіт? Жодного клопоту нема... Та почекайте ж бо!.. Які ж бо ви!.. І слухати не хочете... А якби я був на вашім місці, то орендаря і дурно послухав би, бо то бідний

жидок; вам же... ну-бо!.. почекайте!.. дам горілки, тільки озьміть і мої конята. Вона, бідненькі, стоять коло порожніх ясел - уф! які голодні!

Так говорив Мошко, идучи в ряд с парубками. Они, и выслушавши, засмеялись и начали подгонять лошадей.

- Ну, чуєте-бо! Які ж бо ви недобрі! - вкрадчиво продолжал Мошко.- А я дам дві бляшанки самої луччої оковитої, аж губи злипнуться.

- Хто тобі за дві бляшанки пристане цілу ніч коні пасти? - заметили парубки.

- Ну-у? Ніхто? А може, ти, Іване, або Петре, чи Андрію?

- Но! но! - закричали парубки, колотя лошадей пятами по бокам,- но!.. Як даси око, щоб на всіх стало, то, може, що й буде.

- Око? Багато захотів,- заметил Мошко, остановившись, но, видя, что они удаляются, присовокупил: - Пів-ока дам - що вже робити з вами - тільки щось скажу - почекайте!

Парубки остановились и начали совещаться. К ним подошел и Мошко.

- А що скажеш? - спросили его.

- Згода? - спросил Мошко в свою очередь.

- Та ти щось мав сказати.

Мошко начал почти шепотом:

- А правда, що ви на попів ланок їдете?.. Я знаю, що на попів... Будете ночувати в вівсі або в ячмені.

До этой поры ночлежники и не помышляли о поповом лавке. Они намерены были ночевать *на ваканці*,⁸⁸ который начинался за яриною и простирался на несколько верст в длину и в ширину. Теперь же каждый подумал: «А в самом деле, не худо бы переночевать на ланку. Это и гораздо ближе к селу, и овес или ячмень лучше *наші*. Притом же хозяин умер, кому быть в претензии? Не мы, так другие, все равно потравят».

- А правда, що вгадав? - продолжал Мошко.

- Ні,- ответили парубки.

- Як то ні? Що б не ніч, то по ваших очах було б видно, що

88 - Ваканець - поле, которое никто не пашет, не косит, не по годности, а, напр., по отдаленности.

вгадав... Та не бійтесь; не скажу нікому... Їдьте з богом, заберіть тільки і мої конята, то ще будете мати дві бляшанки горілки.

- А ти ж казав уже, що пів-ока даси...

- Хто? Я казав? Не може бути, щоб я так казав. То ви хотіли пів-ока.

- Що з ним балакати! - сказали парубки,- їдьмо, браття! Но!

- Коли вже казав? - торопливо прибавил Мошко,- то дам три бляшанки.

- Но! Но! - закричали парубки и поскакали вперед. Мошке, однако, удалось задержать одного. Это был из церковных Андрей Гуляй - парень, ничем не отличавшийся от других, только более избалованный, как единственное дитя у своих родителей. В переговорах с ним Мошко согласился дать око водки, но с тем условием, чтобы парубки не только взяли его лошадей на ночлег, но сверх того привезли бы ему по вязанке овса или ячменя. Андрей дал слово и за товарищей, взял водку, лошадей и отправился догонять компанию; а Мошко пошел домой. «Начало хорошее,- думал он, идучи.- Завтра будет копна сена. Уф, какого сена! Вечером тоже подговорю их или других, и послезавтра будет другая копна сена».

- Око? - спросили Андрея, когда он догнал товарищей.

Андрей передал все.

- Разве мы будем ночевать в ярине?

- Отчего бы и нет? - спросил Андрей.- Водка есть на закуску разживемся; и какой отличный ночлег устроим за упокой души нашего *панотця*!

- Добре кажеш! - воскликнули парубки, и, после краткого совещания, Андрей с некоторыми другими отправился в село *роздобувати*, чего недоставало, а остальные отправились на ланок. Ночь была тиха, перед домом священника продолжал гореть костер, и тихо развевалась едва заметная в полутьме черная хоруговь. Белый крест, вышитый на ней, виднелся как будто на воздухе. Андрею надо было ехать возле этого двора - и совесть заговорила; парень остановился. Ему страшно стало: «Бог покарает». Но уж зашел он слишком далеко в своем предприятии, возвращаться было поздно. Да и к чему бы это послужило? Лошади все

равно уже на лавке давно. Притом же товарищи осмеют.

- Ет! - порешил парень.- Було не вмирати, коли хотів хліб зібрати! Тепер він не твій; а того, хто збере його.

Так думал Андрей, однако не имел смелости поехать улицею, а побрел водою поза огорода. Всполошенные гуси, утки с криком убегали на став, оставляя берег, на котором думали переночевать, собаки подняли лай; Андрей начал трусить как следует. В каждом пеньке он видел покойного священника и только у ворот своего двора заметил, что ноги потерпли. Мать Андрея еще не спала, когда он приехал. В хате было слишком жарко, а в сенях хотя и прохладно при растворенных дверях, как и на дворе, однако и здесь сон не брал. «Якого-то бог дасть нам панотця!» - думала она и своими воспоминаниями забралась далеко-далеко в молодость, когда теперешний покойник едва начинал сидеть, а она только венчалась. Ее Остап теперь уже почти старик, а тогда был еще статным парубком, немногим старше теперешнего их Андрийка. А Андрийко и явился, едва только мать вспомнила о нем.

- Що там, синку? - спросила она, испугавшись.

- Дайте мені гуску або порося.

Андрей знал, что ему не откажут, и смело просил.

- А нащо тобі? - спросила мать.

- Парубки роблять складчину на ночлег, і я хочу пристати до гурту.

- Гріх, сивку! Батюшка на лаві.

- Ми, мамо, за його душу.

«Молодому молодое в голове; пусть бог простит», - подумала мать и спросила: - Одного гуся будет довольно?

- Если дадите двух, то не откажусь, а за трех поблагодарил бы.

- Три багацько. Да и на другой раз понадобится; а двух не пожалею, если вас много.

- Много, мама, много! - воскликнул Андрей, - и косточки поедим.

- Так пойдем же поймаем, - сказала добрая мать.

Гуси преспокойно спали, и не было никакой трудности переловить хоть бы и всех их, надо было только немного осторожно-

сти, чтоб не разбудить. И Андрей, спустя несколько минут, скакал на поле уже с парюю оскубленных и выпотрошенных гусаков, с узелком соли и с ложкою в кармане. Теперь он ехал уже улицею, и как только поравнялся с домом священника, петух захлопал крыльями и запел. Парень вздрогнул, и кровь прилила к сердцу. Он вспомнил отречение Петра,⁸⁹ но не *«шед, плакася горько»*, а хватил лошадь поводом и помчался на ланок.

Не так легко пришлось товарищам Андрея, которые возвратились с ним в село и которых родители не баловали своих детей. Эти в самом деле должны были *роздобувати*, т. е., говоря просто, должны были красть, если не у собственных родителей, то у кого удастся, разумеется с помощью дочки или наймички. Такие ночлеги в данное время случались довольно часто, особенно под осень, и на сопровождавшую их кражу курей, гусей, поросят, даже свиней смотрели как на шалость.

- Разве мы не таковы были в свое время? - рассуждали отцы и спокойно удовлетворяли обиженного. Жалобы, впрочем, случались очень редко, да и те большею частью кончались мировою за чаркою. Выигрывал, следовательно, все тот же арендарь.

- Придет пора, покаются,- рассуждали мирящиеся,- как покалялись и мы; а поки що нехай веселяться: *«поти вживати світа, поки служити літа»*.

Много, много если виновный получал выговор. И такой порядок вещей не во всех местах вышел из употребления и в настоящее время. И это не по недостатку нравственности, а по простоте нравов. Впрочем, надо сказать, что теперь такие ночлеги бывают весьма редко, хотя это свидетельствует не более как о том, что парубки сделались вялыми, кислыми и предпочитают сон веселому препровождению времени даже днем. Но наш рассказ относится к тому отдаленному времени, от которого дожили до нас только немногие старики, тогда парубковавшие. Может быть, который-либо из них принимал участие и в том ночлеге, для которого Андрей получил гусаков. А жирные были гусаки! Парень

89 - ...отречение Петра.- Йдеться про зречення євангельського апостола Петра під час допитів від учення Ісуса Христа. Після третього зречення Петро розкався у своєму відступництві.

несколько раз переменял руки, пока довез до места. Там уже горел большой костер и готовы были *таганы*.⁹⁰

- Піджар, щоб аж небо зашкварчало! - крикнул Андрей издали.

- От і Андрій! - весело откликнулись товарищи. - А остальные где?

- Не знаю,- ответил Андрей, слезая с лошади.- Аж жаль,- прибавил он, смотря, как не менее двадцати лошадей по брюхо ходят в овсе, срывая только верхушки.- Ей-богу, жаль! Що то значить! Хазяїн вмер, то й праця марно пропала!..- Сказавши это, хватил свою лошадь поводом по боку, и она поскакала в овес, путаясь и спотыкаясь, потом начала валяться.

Мало-помалу собрались все ночлежники, привезли посуду, пшена, сала - все, что надо было, и принялись кашу варить. Не станем смотреть, как они суется, не будем слушать, когда начнут петь, отвернемся, когда примутся за танцы. Не будем мешать парубкам; пусть их гуляют, а «женятся, переменяются».

До рассвета за корчмою стояла большая копна молодого сжатого овса, а по восходе солнца Мошко расстилал его для сушки, думая про себя: «Уф, какое сено будет!»

Ударили во все колокола, и погребальная процессия тронулась со двора священника к церкви. Мошко знал, для чего, звонят, и сердце дрогнуло, однако он продолжал расстилать овес, хотя руки и тряслись.

Высыпали заспанные, курчавые, в коротеньких рубашках младенята, разбуженные звоном колоколов, и начали глазеть на процессию.

- Прочь! - крикнул Мошко, желая чем-нибудь занять докучливое воображение, и они спрятались в корчму, толкаясь и крича.

«Було не вмирати, коли хотів, щоб овес був твій,- успокаивал Андрей свою совесть, неся хоругвь.- Но какого после покойника бог пошлет нам *панотця*!»

90 - Треножник, на котором вешают над огнем казанок.

II

Покойник не держал ни приказчика, ни *савулы*, а сам вникал во все, потому крестьяне, похоронивши его, остались, как цыплята без матери. Собралась громада перед корчмою; стоят, ковыряют землю палками, а что делать - не придумают.

- Не знаете що! - вмешался Мошко.- Берегите двор, скотину, пасеку. Назначьте варту. От вам и панщина...

- Это-то мы и сами знаем,- сказали крестьяне,- а больше что?

- Что больше? Пользуйтесь случаем. На вашем месте... Э, если бы я был на вашем месте!.. Такие случаи бывают не часто.

- Ну?

- Только вы подумаете: жид плут, что скажет, то соврет.

- Кажи-бо! Кажи!

- Гм, я давно сказав би. Я сказав би і без вашої просьби, та сумління бере. Громада - великий чоловік, а я бідний жидок; як приймуть за шахрая, той без панчіх зостанусь.

- Та кажи, коли кажеш; а ні - не мороч.

- Нехай буде по-вашому,- начал Мошко.- Я скажу, а ви... Ви як собі хочете - вірте чи не вірте. Аби я вам добра жичив... От і в тебе грошей нема, і в другого, і в третього - ні в кого нема грошей; то користуйтесь з пригоди.

- Себто?

- Себто? Я сам куплю у вас ярину, як вона есть, на пні.

Крестьяне переглянулись. Они не поняли, что Мошко говорит о посевах покойника.

Мошко продолжал:

- Ви народ темний, нетямущий. Якби я на вашем місці, то не те було б. Ви робили та й робили, а що за те маєте? Маєте право покористувати з того, що зробили. Я знаю, ви догадались, що я говорю за попівські ланки.

- А грішно,- заметили крестьяне.

- Грішно? На кого ви робили? На живого? Правда, що на живого? А небіжчикові нащо? От послушайте ж мене, бідного жидка: зіжніть, скосіть та до мене звезіть. Мені трава, а вам гроші.

- Нізащо. Се вже буре злодійство.

- Я так и думал,- сказал Мошко,- я говорил сам себе: они народ темный, не только не слушают моего доброго совета, но еще и в плуты произведут. А правда, що так сталося?

- Ніхто тебе шахраєм не зве, а все ж...

Говоривший не кончил, а остальные и не слышали, что он говорил. «Не прав ли Мошко,- думали все,- мы работали на того, кого уже нет на свете: в чью же пользу должна послужить наша праця, если не в нашу же? Ведь покойник в завещании своем ничего не сказал о посевах, значит, и он не признавал их своими».

Мошко, подстерегавший на физиономиях крестьян малейший, так сказать, намек на выражение, после некоторого молчания сказал как будто сам себе:

- Всі ми помремо, так бог судив, а з того світа хіба будемо дивитись на хазяйство, що зостанеться на сім світі? Штири дошки, землі трошки - от і все, що треба людині!.. А що придбали, нехай живі користують та за помершу душу богу помоляться. Нащо в батька діти? - щоб молились за його душу? Нащо в пана люди? - Щоб робили, доки жиє на сім світі, а бог прийме, так щоб бога молили за його душу.

- Ге! - заметили крестьяне,- наш панотець були... Та що й казати!..

Продолжая таким образом, Мошко успел убедить крестьян, что посевы покойника не принадлежат никому, что это их собственность, что они будут дурнями, если не воспользуются своим трудом. Успевши в этом, ему уже нетрудно было найти охотников водить его лошадей на поповский ланок и оттуда доставлять жатую или кошеную ярину. Только никто не согласился брать за это деньги: это будет воровство, возражали крестьяне; но водку принимали. А это для Мошка было тем лучше. И вскоре на поповском ланке осталась от ярины измятая солома да стерно. Зато чердак на аренде был туго набит высохшим зеленым овсом и ячменем.

- Уф, сколько у меня сена! - восклицал Мошко, весело щелкая пальцами,- уф! И сам граф не имеет такого сена! Який дурень буде сіяти, орати, насіння теряти, щоб скосити сіно! Уф!

- Буде ж вам! - стращали церковных панские крестьяне, при-

нимавшие, впрочем, вместе с ними участие в доставлении Мошке сена.- Буде ж вам!

- Що буде і за що? - возражали те.

- Що буде, то побачите; а за що, то от за що: замість стерегти, ви спасли та скосили.

- А ви хіба як? Не пасли й не косили?

- Нам що іншого; піп нам не пан.

- Тим гірше, що піп для вас тільки батюшка.

- Ха-ха-ха! - засмеялись панские.

- Ха-ха-ха! - передразнили их церковные.

- Засмієтесь на кутні! - заметили панские.

- Глядіть свого носа,- сказали церковные, не имея чем оправдаться. Совесть в самом деле пробудилась и начала напевать что-то очень неутешительное. Но тогда на поповом ланке уже не было чем поживиться.

- Цур дурня! - восклицал Мошко им в утешение.- Що вам журитись та на других дивитись? Ось послушайте лучше мене, бідного жидка, та порадимось, чи не можна б зробити що і з озиминою. Вона також нічия.

Между тем прибыл новый священник - последний из униатов, по фамилии Марчинский. Будучи страстным охотником, как это ни странно, однако справедливо,- он всех молодых мужчин, из церковных крестьян, тотчас же обратил в ловчих, доезжачих и т. д. Андрею Гуляю, из среды их, поручил псарню, чем страшно обидел как его самого, так и отца его Остапа.

- Хазяйський син та псарником став! - восклицал Остап.- Бо-дай би він лучше був пропав!

- Синку мій, дитино моя! - плача, приговаривала мать.- Чи на те ж я тебе родила! Чи на те ж любила! Ось воли-соколи, коні та корови, а ти чорнобровий, отам з псами!

Недовольны были и все остальные. Батюшка знал это по пасмурным лицам, по доносам, однако не обращал никакого внимания. И в церковном доме, вместо церковных песен, как бывало прежде, раздавались выстрелы, и охотничьи рога и собачий визг нередко заглушали церковное пение во время богослужения. Прихожане пожимали плечами и крестились от удивления,

а нешеретована шляхта, или так называемые *лушпайкы*, не могли достаточно нахвалиться ксендзом.

- Oto ksiądz!.. A strzela! Oj-oj-oj!⁹¹ - восклицали эти и окружали его десятками.

Среди этой *галайстры* Марчинский (он был вдов) забыл и единственного сына своего. Несчастный мальчик слонялся по крестьянским хатам - где поест, где переночует; а отец по целым месяцам не навещается домой - все на охоте да на охоте. Возненавидели прихожане такого священника и из ненависти, а сверх того, подстрекаемые Мошком, начали красть у него, что только попадало под руки. Ценное пропивали у Мошка или же продавали за бесценок, а что не имело цены, то бросали в пруд. Остап Гуляй украл однажды дырявый рог, подаренный Марчинскому на память, и для большей неприятности налил в него сала и бросил первой попавшейся на улице собаке. Вскоре возле нее образовалась целая стая и поднялся такой гвалт, что сам Марчинский вышел посмотреть. Он думал, нет ли там и его собаки, но вместо своей увидел чужую - с рогом в зубах. Скорчившись, поджавши хвост, она мчалась во всю прыть, а за ней не менее десятка других.

- Łara!⁹² - крикнул взбешенный панотец и разослал всех своих крестьян отыскивать рог.

- Дам две заячьих шкуры, кто доставит его,- обещал он,- свой ли то будет или чужой.

«Давай і три, то чорт його бери», - думали те и другие. И рог пропал; панотец был страшно огорчен, а крестьяне хохотали.

Вследствие таких обстоятельств, Мошко из года в год богател, а Марчинский, напротив, беднел. Оставленное без всякого надзора и взваленное на стариков и женщин хлебопашество перестало наконец не только давать доход, но и достаточное прокормление.

- Psia tu mać z jego miastern,- сердился Марчинский,- jest co kupić, niema za co!⁹³

91 - Ото ксьондз!.. А стріля! Ой-ой-ой! (польськ.) - Ред.

92 - Лови! (польськ.) - Ред.

93 - Нехай йому пес з його містом; є що купити, нема за що! (польськ.) - Ред.

- А я на вашем месте,- сказал один из дармоедов,- выжал бы золото из вашей земли.

- Если бы хлопы хорошо обрабатывали ее и потом посеянного не выпасали,- заметил Марчинский.

- Разве нельзя приучить их к одному и отучить от другого? - сказал первый.

- Я думаю, что нельзя.

Слово за слово,- дошло до того, что они побились об заклад. Марчинский рисковал любимой собакой, а его нахлебник, не имея даже кота, обязался поцеловать любого хлопа в руку.

- Згода,- сказал Марчинский, и его противник по закладу был объявлен приказчиком.

«На панську ногу стає,- подумали крестьяне,- та не бути тобі паном, як нам попами».

- Я вас вышколю,- хвастал приказчик,- по сту шкур буду драть! Я вам не батюшка!..

Это случилось весною. Старые порядки между тем продолжались. Марчинский охотился, крестьяне пасли, Мошко подстрекал, оттого приказчик начал сечь за спаш, не различая правого от виновного, лишь бы поймал на поле. Помня обращение покойника, крестьяне к ненависти присоединили месть, и если не было скота под рукою, чтобы загнать в пашню, то сами качались по ней. Мошко весело щелкал пальцами, уже отпасши брюшко, Хана чмокала губами от благоговения к мужу, Марчинский подшучивал над приказчиком: «Поцелуешь, пан, хлопа в руку».

Видит приказчик, что дело плохо,- что вся ярина измята, истоптана, съедена, как и озимь, а на крестьянских нивах та и другая, как Дунай, и придумал обменять поповский ланок на крестьянские вины.

- Как же это? - возражали крестьяне,- нехай би вже по жнивах, а то тепер.

- Это вам в наказание,- объяснил приказчик,- будете знать, что такое спаш.

Почесали крестьяне потилиці. «Погоди же,- думают,- не буде нам, не буде й тобі».

III

Был очень урожайный год. На панских полях и у панских крестьян колы стояли так часто, что между ними с трудом можно было возом поворотить, а на церковной земле, будто на другой почве, сбор хлеба оказался вдвое хуже. Но этого мало. Каждую ночь несколько коп как будто сквозь землю проваливалось. Приказчик замечал это, знал, что это проделка крестьян, но ничего не мог сделать.

- Поцелуешь, пан, хлопа в руку,- подтрунивал Марчинский, нисколько не смущаясь, что, быть может, хлеба не хватит до нового сбора.

Не так смотрел на дело Мошко. Ему также было известно, что копы пропадают, но где они деваются? И почему крестьяне не ему доставляют краденое? «Нет,- решил Мошко,- я был бы олухом, если бы не сумел приобрести несколько коп. Будь я гой, а не Мошко, если упущу этот случай!» Поклявшись таким образом, он начал придумывать, к кому бы из крестьян обратиться с предложением и, зная характер каждого из них, не долго затруднялся этим. Выбор пал на Остапа Гуляя. Обиженный назначением сына в псарники, он более других ненавидел Марчинского и готов был на всякие пакости, только бы отомстить за оскорбление. И до этого времени он усерднее прочих поставлял арендарю разные разности из имущества панотца, так почему же теперь не согласится? Притом же и обратиться к нему был отличный предлог. Известно, что и в настоящее время евреи, живущие по селам, несмотря на запрещение, скупают или выменивают на водку все, что могут - птиц, яйца, зерно, краденые вещи и т. д., а прежде эта мнимая торговля достигала громадных размеров. У Гуляя между тем недавно волки вола разорвали, отчего один остался без пары. Не продаст ли он этого вола? Не имея пары, он в хозяйстве лишний. Мошко, впрочем, почти был уверен, что не купит вола, но это пустяки - ему нужен предлог для свидания с Гуляем, а совсем не его вол. И лучше представлявшегося даже выдумать было нельзя. А времени терять было тоже нельзя.

Хлеб могли свезти на гумно или разокрасть до остатка. Вот Мошко и отправился к Гуляю. Остап как раз в ту пору советовался с женою, не занять ли у арендаря денег, чтобы, доложив до своих, купить вола на место съеденного волками: «П'ятьма волами не орати, а орати пора. Та й сівба не за горами».

- То що ж? То й позич...

- А чи вдома пан господар? - спросил Мошко, постучавшись в окно с улицы,- проведіть мене. Я боюся за *пес*.

- О! За вовка помовка,- сказал Остап и вышел на улицу.

- Я до вас, Остапе! Чи не продасте отого вола? - начал Мошко.

- Отого, що без пари? Я сам хочу прикупити, та грошей нема стільки.

- И послал же бог несчастье! Да еще в какую пору! - с участием продолжал Мошко.

Гуляй вздохнул.

- Так не продадите?

- Кажу ж, що сам хочу прикупити.

- Бог в помощь. Только у вас, как говорите, грошей не сповна...

- А ти хіба не позичиш?

«Идет дело на лад», - подумал Мошко и говорит:

- Я? Чому б я не позичив, якби були?

- В жида щоб грошей не було! - заметил Остап.

- Як є там яка копійка - ну? - то хіба вже й багацько?

- Мені й не багацько й треба - карбованців зо три.

Еще помаявшись немножко, Мошко согласился занять недостающую сумму, и оба отправились в корчму. Спустя несколько минут Остап сидел в корчме за столом, по другую сторону которого сидел Мошко и баловался рублями, пересыпая их из руки в руку.

- Для вас, при такій лихій годині, я даже без процентов займу,- говорил Мошко.

- Без процентов? - спросил Гуляй, посматривая то Мошке в глаза, то на рубли, которыми он баловался.

- Да, без процентов,- продолжал Мошко,- я так-таки без нічого-гісінького занял бы; но это будет обидно для других, а потому вы

привезете мене - ну - ячменю, чи вівса, чи що там знайдеться - пшениця, чи що.

- Де ж я візьму? - сказав Остап.- Хіба не знаєш, що наше піп повернув на себе, а на кого ланку бігма.

- То-бо то й діло, що піп ваше повернув на себе. Але ж ви не для його сіяли, а для себе, то воно все-таки ваше.

- Воно б і так, та не така панська воля.

- Нехай собі нарік на вашому сіє, а тепер... Що посіяв, й то и жни.

Гуляй молчал.

- Так ні? - продовжав Мошко.

- Ні,- відповів Остап,- боюсь.

- Чого тут боятись?

- Чого? А хіба ти не чув, що прикажчик грозився коням хвосту втинати, рогатій скотині роги збивати?

- Чи все те правда, що на весіллі плещуть? Казав пан: кожух дам, та слово кого тепле.

- А все ж...

- Не зловлять, не бійся.

- Небоя й вовки їдять.

- А як і зловлять, то що? Ну - виб'ють, та й годі.

- Ні, боюсь,- сказав Гуляй.- Нащо кому куці коні?

- Ваша воля,- заметив Мошко, спрятал деньги в карман и переменил разговор.- А ваш Андрій все за псарника?

Мошко предвидел, какое действие произведет его вопрос, и не ошибся. Это была слабая сторона Гуляя, и он, в ответ Мошке, стиснул зубы.

- Пропав хлопець! - сказав Мошко, качая головой.

- Що пропав, то пропав,- сказав Гуляй.

- І я б оце простив! - продовжав Мошко, заметивши, что у Остапа глаза сверкали от гнева.- Да я на вашем месте... А!.. не знаю, на что я не решился бы, только бы отомстить... Хазяйського сина повернути в псарники! Эй-вэй!

Довольно долго продолжался подобный разговор. Гуляй сердился, Мошко подзадоривал, наконец предложил водки. Остап выпил и начал бранить всех охотников на свете, будто все они

участвовали в назначении его сына. Мошко поддакивал, не упуская из виду главной цели своей.

- Так и быть,- сказал наконец Гуляй,- я согласен ехать на поле. «Не кием, то палицею». Только я готов рисковать своею шкурою, а лошадиными хвостами нет. Дай своих.

- Моих лошадей дать? Вы моими лошадьми согласны ехать? - говорил Мошко медленно и в то же время обдумывая, какую пользу можно извлечь из этого предложения. Быстро сообразивши, что если Гуляй будет пойман и лошади потеряют хвосты, то с него можно будет содрать какую угодно цену, он продолжал: - Моими лошадьми, а возом чьим?

- Та твоїм же,- ответил Гуляй.- А свого мені не тягти самотужки через все село.

- Хорошо. Согласен,- сказал Мошко и счел нужным прибавить: - По этому можете судить, как мне жаль вашего Андрея. Что за парень был!

- Е! Що й казати! - заметил Остап.

Выпили магарыч, и Гуляй удалился, давши слово прийти вечером, а Мошко обещал вечером же дать деньги и замечтался о тех выгодах, какие извлек бы, если бы Гуляя поймали и лошади были искалечены. До вечера между тем оставалось довольно времени, чтобы Остап протрезвился, а Мошко дошел до крайней степени своей жадности. «Превыгодно было бы,- думал он,- никто и не слышал, чтобы кто-либо сбыл товар с таким барышем, с каким я сбыл бы своих куцых. О, если бы Гуляй был пойман!.. Не донести ли?»

Рассуждая таким образом, он ходил взад и вперед по комнате, щелкая пальцами и кусая губы. Желтые глаза его горели, и рыжая борода тряслась. Вдруг Мошко остановился, но только на одно мгновение, ударил себя пальцами по лбу, в то же время чмокнувши губами, и торопливо побежал из корчмы. Очевидно, ему пришел в голову какой-то план, из которого он надеялся извлечь выгоду. И не может быть сомнения, что дело относилось к Гуляю. Но неужели Мошко будет так прост, что пойдет к приказчику и скажет: вот я в наступающую ночь пошлю на ваше поле красть снопы; поймите и отрежьте моим лошадям хвосты, чтоб

я этого другой раз не делал? Нет. Мошко не так прост. Он выдумал хитрость, которая доставит ему выгоду, не роняя его в глазах крестьян.

IV

В Т-е жил крамарь, еврей, как и Мошко. Так как между ним и Мошком существовала конкуренция в эксплуатировании крестьян, то часто выходили и ссоры, несколько раз едва не кончившиеся потасовкой. Даже не далее как перед последним шабашем произошла схватка среди села из-за курицы. Один схватил несчастную за ноги, другой за голову, и грызлись между собою, пока не задавили; тогда бросили, и один отправился в одну сторону, другой в другую.

- Кто же заплатит? - спросила женщина, продававшая курицу.

- Он! - крикнул крамарь, указывая па Мошка.

- Он! - крикнул Мошко и указал па крамаря.

- Если бы ты не вмешался, я купил бы! - продолжал кричать крамарь, остановившись.

- Я купил бы, если бы ты не вмешался! - кричал в свою очередь Мошко, тоже остановившись.

- Та добре ж, добре,- начала женщина,- а все ж таки, хто мені заплатить?

- Он,- указал Мошко на крамаря и быстро пошел к корчме.

- Он,- указал крамарь на Мошка и также быстро и пошел домой.

Такие и подобные сцены происходили довольно часто. Однако это не мешало ни тому, ни другому плутовать и наживаться, а, напротив, даже пособляло, маскируя и случае надобности стачку. И в день уговора с Гуляем Мошко отправился именно к крамарю. Не прошло и четверти часа от прихода гостя, как оба - гость и хозяин - выбежали из хаты и подняли гвалт на все село. Из-за чего они ссорились, и никто не знал, потому что никто не понимал по-еврейски; но очень многие слышали, как они обзывали друг друга мошенником, шахраем и другими подобными

словами, которые употребляются евреями почему-то без перевода. Выбежала крамарька с дрянной ленточкой в руках и, крича во все горло, поплевала ее и потоптала ногами. Мошко взбеленился и бросился на крамарьку, крамарь стал перед ним, поднявши кулак. Тот остановился и тоже поднял кулак. Вот-вот бросятся один на другого. Однако они не трогались с места, а начали плевать друг на дружку издали. Наплевавшись до истощения слюны, крамарь сел на завалине и задумался, а Мошко отправился к себе и улыбался, идучи, щелкал пальцами и чмокал языком. Едва он вошел в корчму, как крамарь оделся и с большим узлом *свіжого краму* пошел к священнику. Догнавши толпу крестьян, бывших свидетелями ссоры, он сказал: «Він (разумея Мошка) думає, що я так і подарую!.. Ні!.. Не на такого напав!.. Я йому покажу, «по чому в Тростянці гребінці!».

- А покажи! - сказали крестьяне,- покажи!

- А думаете, не покажу? Ось поназдивитесь...

У Марчинского в то время было душ двадцать нешеретованой шляхты. Кто ружье чистил, кто трубил, кто прицеливался; собаки визжали, лаяли - на завтра готовилась большая охота в лесу. А сверх того настоящий день решал пари Марчинского с приказчиком. И шляхтичи, бывшие свидетелями залога, должны были сегодня решить, кто выиграл. Приказчик давно уже видел свой проигрыш, но утешал себя мыслью, что благородного шляхтича не захотят же унижить до того, чтобы он поцеловал хлопа в руку. Однако он ошибся. Марчинский оказался настойчивым, остальные приняли его же сторону и заранее объявили, чтоб и проигравший и не думал отказываться от своего слова. Нашлись, однако, и сторонники приказчика. Правда, и они стояли за то, что должно держать слово, однако не желали так жестоко унижить шляхтича и посоветовали ему до вечера скрыться где-нибудь, а потом бежать.

- Пешком и без денег? - возразил приказчик.

- Мы приведем тебе лошадь, куда скажешь, и сделаем складчину. Ты же поезжай себе с богом на неделю, на две, а потом вернись. Тогда мы скажем, что прошел срок, и тем все кончится.

Приказчик послушался и после обеда или, лучше, после *полудня* скрылся, оставивши батюшке записку, в которой уведомлял о своем побеге, бранил крестьян и просил сберечь оставляемые вещи, обещая приехать за ними в свое время. По прочтении ее, одни называли беглеца трусом, низким; другие, напротив, видели в его поступке доказательство благородства: благородный шляхтич, говорили эти, согласился лучше быть лгуном, нежели унижить гонор свой. Обе стороны оказались неуступчивыми, начался спор и, по всей вероятности, продолжался бы очень долго, если бы не помешал приход крамаря.

- Что же ты принес? - спросил его Марчинский.

- Все, что угодно,- ответил крамарь.

- Табак есть? - спросил один шляхтич.

- Табак? - сказал крамарь, как бы недоумевая, есть ли у него табак,- табак? Табаку нет.

- А трубки есть?

- Трубки? И того нет.

- Что же есть?

- Все есть. *Nici dobże, plótno szwabskie.*⁹⁴

- Спряжки, подтяжки, ляк,- продолжал один из и шляхты, подделываясь под еврейский выговор.

- Сире кроччя, білу глину, мотузочки,- говорил другой.

- Нащо з мене глузувати? - начал крамарь. - Я собі бідний жидок, не такий, як Мошко-плут. О, Мошко!.. Мошко шельмець!.. Він думає, що я нічого не знаю, а я все знаю. О, я знаю все! От і сьогодні найняв мужиків, щоб йому копу вівса вкрали на церковнім полі. Я дуже добре знаю. От якби засіли!.. А він, ей-богу, найняв і своїх коней дасть. От якби хвосты поврізувати! Нехай би знав, як мужиків підкупувати та посилати красти.

- Ша! - сказал Марчинский,- никому больше ни слова. Я знаю, что сделаю. Кто из вас, господа, согласится поехать и подкараулить? - обратился он к шляхтичам,- человек пять, я думаю, будет?

- Ехать нельзя,- заметил кто-то,- а надо пойти да и еще тайком.

- Действительно, это лучше,- решили все, и несколько душ

94 - Нитки добрі, полотно швабське (польськ.).- Ред.

взяли на себя отправиться к овсу и обрезать хвосты Мошковым лошадям, самих же воров, если удастся поймать, привести в село.

- Отдадим «на громадський суд», - говорил Марчинский: - Когда поведут по селу с снопом на шее, то будут помнить, как воровать. Кому-нибудь, однако, следует наблюдать за корчмою. Может быть, крамарь и соврал.

- Ей-богу, нет! - клялся крамарь, - я сам при том был.

- Кого же именно он договорил?

- Я не знаю. Я сидел в другой комнате, а он себе в другой договаривал - а кого, я не видел.

- Да все равно, - заметила шляхта, - поймаем, тогда узнаем.

Марчинский дал крамарю чарку водки, тот выпил и отправился, думая себе: «Вот и дело! здесь рюмка водки, Мошко даст третью часть всего, что выручит за лошадей. Прекрасно! Уф, как прекрасно!»

За очень редкими исключениями, в нашем крае по селам ближе всего к церкви стоит дом священника и дьячка (школа), потом корчма. Так было и в Т-е. Оттого, не подавая повода к подозрению, Марчинский с своего двора мог видеть всех входивших и выходивших из корчмы. Для этого его гости кучкою стояли перед домом, занимаясь приготовлениями к завтрашней охоте. Как вот увидели они, что из заезда выкатили *васажок* и Остап начал запрягать арендарских лошадей.

- Вот он, вор-то, - шепнули один другому наблюдавшие.

Позвали Андрея.

- То твой отец? - спросили его.

- Да, - ответил Андрей, - Мошко договорил его съездить по водку.

В самом деле, когда упряжка была кончена, из корчмы вынесли бочонок, уставили на *васажок*, и Остап уехал, направившись даже не в ту сторону, где была ярина. Мошко крикнул ему что-то и спрятался в корчму. Все было так просто и обыкновенно, что никто не сомневался в обмане со стороны крамаря. «И верь жиду! - рассуждали наблюдавшие. - Пригрезилось что-то, он сейчас с доносом».

- Нет. Он хотел сбыть хлам, который принес с собою, и про-

сто выдумал клевету, чтобы задобрить нас и тем лучше обмошенничить.

- И заработал рюмку водки. Как это мило! Ха-ха-ха!

За Остапом тем временем и пыль улеглась. Не оставалось сомнения, что Мошко ничего не затеял насчет ярины, потому что имел только пару лошадей, которую и отправил по водку, вместо того чтобы послать на поле. И все успокоились.

Наступившая ночь была темна, но не так, чтобы не видеть дороги перед собою; напротив, на некотором расстоянии можно было даже различить человека. В доме Марчинского все шло обыкновенным порядком, каждый занимался своим делом, потом поужинали, и Андрей, заперши собак, был свободен на всю ночь. Он тотчас же и отправился со двора, поручивши кому-то из товарищей наблюдать за псарней и, в случае драки между собаками, развести их. Наконец все улеглось, все затихло. Неужели сторонники приказчика забыли своего клиента? По всей вероятности, да, потому что уж и вторые петухи пропели, а он все сидит под копною, между тем как было условлено, что доставят лошадей тотчас после первых петухов. «Лгуны, подлецы,- сердился он,- без сомнения, сговорились настрашать меня, чтобы доставить место кому-то другому! Как я был глуп, что поддался! Но, чу! кто-то говорит»... Приказчик притаил дух, слушает. Голос знакомый. «Ба!.. Это Андрей. Но с кем он здесь и для чего?»

- Так кто доложив? Кто? - спрашивал незнакомый голос.

- Крамар,- ответил Андрей.

- А панотець що?

- Зараз вибрали аж п'ять паничів. Піймайте,- каже,- приведіть, поведемо по селу.

«Это меня хотят посрамить так! - думал приказчик,- не таковский я, чтоб позволить это. Но послушаем, что будет дальше». Дальше, однако, ничего не было слышно. Андрей и Остап - это был он,- молча прошли в нескольких шагах от той копны, под которою скрывался приказчик, и все затихло. Вдруг фыркнула лошадь. Сердце беглеца дрогнуло: «Наши или за мною?» - спросил он сам себя и начал вслушиваться еще внимательнее. И слышит, стерно трещит под четырьмя ногами. «Один кто-то едет»,- поду-

мал он. Но шаги путались, потому легко было догадаться, что это не один едет, а два идут. И действительно, это шли Гуляи, неся по несколько снопов овса. Опять лошадь фыркнула.

- А бодай ти трісла! - сказал Остап,- фиркаеш!

Андрей молчал. Приказчик подумал: «Так это их лошади! Значит, приехали за снопами! Как жаль, что я не знаю, не свяжут ли меня эти хлопы. Я помог бы им теперь так же усердно, как прежде преследовал».

Скажем теперь, что Остап, отправившись будто по водку, оставил бочонок в винокурне, которая находилась в ближайшем селе - верстах в трех от Т-а, и, замаскировавшись таким образом, поехал оттуда по овес. А так как винокурня была по одну сторону непроезжего ручья, а ярина по другую, то, привязавши лошадей на лугу к случившемуся пеньку, он отправился далее пешком. Андрей, по предварительному условию, должен был ждать отца у этого пенька. И, принявшись вдвоем, они скоро наложили полон воз.

- Ну, Андрію! - сказал тогда Остап,- теперь я укреплю снопы веревкою, а ты смотри чеки. Назад надо будет уходить, так чтобы все было в исправности.

Андрей молча принялся осматривать чеки. Одна, другая, третья оказались крепкими, а четвертая изломалась. Услыхавши треск, Остап спросил: «Що там? Вломав? Заколесник?»

- Еге,- ответил Андрей,- один вломався, та зараз зроблю з пужална.

Нож оказался тупым, а кнутовище было дубовое; отец прежде вышел из терпения, нежели чека была готова.

- Бодай я діждав з твоїх ребер заколісники робить! - проклял он, вырвал кнутовище из рук сына, переломал и воткнул в ось.

- Бач, лобуре! - сказал тогда,- сідай та поїдемо!

- Немножко погоди! - раздался знакомый голос приказчика.

Пока Гуляи носили овес, к приказчику приехали его приятели, привели лошадь, привезли водки, закуску и несколько рублей деньгами. Не из доброжелательства к Марчинскому, а так - без всякой цели, сообщил он им о том, что видел.

- Пойдем поймает,- сказали приехавшие,- это будет для нас

тем выгоднее, что оправдает нашу поездку. Мы тогда не должны будем и скрываться.

- Кажется, поздно будет,- заметил приказчик,- они едва ли до сих пор не уехали. Попытаемся, впрочем.

Проход через ручей всем им был хорошо известен, и, как охотники, они искусно подкрались и окружили Гуляев в ту самую минуту, когда Остап вожжи подбирал. Такая неожиданность до того поразила отца и сына, что они просто остолбенели. Панычи между тем, привыкши к кровавым сценам на охоте, с хохотом отрезали лошадям хвосты почти у самого крупа.

- Ах, какие богатые! - восклицал приказчик, разглаживая один из отрезанных хвостов, а другим какой-то паныч хлестал в воздухе.

- Та хоч би кикти вже позав'язували! - сказал Остап, опомнившись и смотря, как лошади дрожали от боли,- бідна скотина! Що вона винна, щоб її так мучити? - И сказавши это, отдал сыну все, что имел в кармане, а самый карман вырвал, намазал смолою и перевязал им раны лошадям. Панычи в то время, как ни в чем не бывало, резвились на лугу, бегали, хохотали, каждый стараясь завладеть трофеем; о Гуляях уже и забыли.

- Я, сину, піду в село,- сказал Остап, кончивши перевязку,- а ти вже не вертайся. Світ широкий, знайдеш собі місце. З богом же! Та швидше.

Андрей как во сне слышал эти слова, как во сне видел, что Остап сбросил овес на землю и повел лошадей под уздцы, как во сне слышал хохот паничей. А на востоке занималась заря. Свежий ветерок помог парню опомниться. До этой поры он бессознательно держал в руках то, что получил от отца, а теперь начал рассматривать. То было: нож-складанець, капшук, люлька, гаманець и цветной платок, а в нем завернуты деньги, занятые у Мошка.

«Бувайте здорові, батьківські пороги!» - подумал Андрей, перекрестился, вздохнул, посмотрел на небо, чтобы узнать, где юг, и медленно пошел в этом направлении.

Мошке не спалось от нетерпения, малейший шум на дворе поднимал его с постели и приводил к окну. И, наконец, Остап

привел куцых лошадей. Мошко задрожал, затопал ногами, но так был поражен своим успехом, что не мог произнести даже своего обычного «уф». Крамарь позже узнал и тотчас же побежал к Марчинскому.

- А що? а що? А не говорил ли я? - кричал он,- хіба я брехав?

Но к кому ни обращался он, каждому было не до него. Все суетились, кого-то искали, перешептывались, переглядывались. Давно прошла пора к выезду на охоту, а все еще дома. Одного только не было - самого Марчинского. Где он делся, чем кончились затеи Мошка и что случилось с Гуляями,- все это будет передано отдельно от теперешнего рассказа.⁹⁵

95 - ...все это будет передано отдельно от теперешнего рассказа.- Цей намір Свидницького, очевидно, лишився нереалізованим.

ТУДА И ОБРАТНО

(Путевые заметки)

Почти весь прошлый сентябрь я провел в дороге, направившись из Киева в Умань, потом через разные города в Каменец, а оттуда обратно в Киев - уже другим путем. Сколько везде стояло хлеба на поле! Не только яровое, но и озимь; не только в копнах, в покосах, но в некоторых местах даже на корне стоял овес, просо и гречка. Об овсе, впрочем, нельзя сказать, что он стоял. Он оставался на корне, но не стоял, а весь *окляк*, будто прошло по нем стадо овец. Особенно больно было видеть это верстах в сорока от Киева, где залегла нива, так сказать, бесконечная.

- Как жаль,- сказал я крестьянину, который вез меня по дороге от Киева в Умань,- сколько добра пропадает!

Подводчик молча почесал затылок. Зная, что это значит, я продолжал:

- Должно быть, и у тебя не совсем чисто на совести. Скажи *по-чеський*, сколько у тебя збожжя не свезено?

- Проше пана, кип на тридцять, коли не більше, в покосах та сорок в полукіпках.

- Что же ты так опоздал?

- Да так, проше пана. Бог родив, мужик і дивиться в землю. Ни богу благодарности, ни себе пользы.

Вид неба показывал, что не далее завтрашнего дня будет дождь.

- Видишь,- продолжал я,- какие хмары встают. Что будет с твоею *красавицею*? Гной?

Подводчик опять почесал затылок и после краткого молчания сказал:

- Проше пана, лакеем служил за *панів*, привык до легкого хлеба, до готового *гроша*, так и тяжело браться за вила, снопы кидать, молотить. Я и нанялся в подводу, чтобы хоть отсрочить тяжелую работу.

- Много ли зарабатываешь?

- Не больше полтинника домой привезу да те колеса; кото-

рые купил, благодаря вам. Не случись, проше пана, вы в обратную, так и этого не было бы. Может быть, пришлось бы и кожух продать... Но, ледачі!

- Как же не *по-хазяйськи* поступил ты!

- И сам бачу, проше пана; та кажу ж, що змалечку ріс у дворі. Мать была *ричкою*, проше пана, за *набілом*, значить, смотрела, для пана,- заметил он как бы для себя,- може, що й більше була; та я привик на всяку полегкість. А тепер прийшлось, та й пшик. Жаль. Под панами лучше было. Другие, впрочем, говорят, что теперь лучше. Как кому, значит.

Довольно долго после этого шел разговор об освобождении крестьян, о том, чего должно ожидать от воли, как пользоваться волею. Подводчик больше слушал и только изредка предлагал вопросы. К концу разговора он, видимо, убедился, что настоящее лучше прошедшего, а будущее выйдет лучше настоящего.

- Гм,- сказал он наконец,- бачу, що я дурень. Треба, проше пана, хлібець шанувати.

- Еще бы!

- Но, ледачі! - крикнул он на лошадей и погнал во всю прыть.

- Тише,- сказал я.

- Хлебец на поле, дождь на носу: надо спешить.

Дорога была слишком гадка, повозка слишком тряска, сидеть крайне плохо да и бедных животных стало жаль.

- Слушай! - сказал я,- не беснуйся! Или ты хочешь отбить мне *бебехи*?

Как ехали бы мы после этого замечания, бог весть; но случился крутой спуск, и подводчик пожалел своей головы. Тогда уже смеркалось, а в долине лежало не то село, не то местечко, и мы заехали на ночь в корчму. Есть у еврея не оказалось ничего, самовар был чересчур грязен, и я лег спать с пустым желудком. Это бы еще ничего, но беда в том, что тогда разъезжалась белоцерковская ярмарка. Чуть задремлешь, как и стучит в окно: «Відчиняй, жиде!» Заворчит корчмарь себе под нос и отворяет. Пока отпустит овса, водки, глаза снова смыкаются, но только для того, чтобы снова раскрыться. И снова тот же крик, такая же возня с сеном, овсом, водкою; снова дремота и снова напрасно. Так про-

должалось за полночь, когда пригнали стадо свиней, купленных в Белой Церкви для Киева, и они задали такой концерт, что небу жарко стало. Прощай, сон!

- Пора вставать,- сказал, потягиваясь, подорожный, ночевавший в одной со мною комнате,- эта музыка в состоянии поднять мертвого из гроба.

И начал он сопеть, обуваясь, и кряхтеть, подпоясываясь. «Надо убираться,- думаю себе,- сосну *на попасі*». И пошел в сени отыскивать своего подводчика. Повозок были полны сени, лошадей еще больше, на некоторых повозках спали люди, а на том месте, где стояла моя подвода, оказалась русская телега с парой огромных кабанов. Сени были огромные, и я более четверти часа провел в поисках, но напрасно. Звать не хотелось, чтобы не разбудить кого из спавших, и я возвратился в комнату терпеть до дня. Но как долго продолжаться этому? Посмотрим на часы увы, мои часики, так звучно щелкавшие на столе! В чьем кармане вы теперь щелкаете? Не того ли подорожного, что ночевал со мной и теперь не сказывается? Таким образом ухнули мои, часы, ради компании узелок с бельем и новый сюртук. Ругнул я, сам не зная кого: почему, дескать, сякой-такой не забрал и последнего. Если уж путешествовать налегке, то так, чтобы, в случае надобности, не стесняться и пешком пойти.

Начало светать... Слава богу!.. Заезд мало-помалу очистился, но очистился совсем,- даже моей подводы не оказалось; подводчик мой ушел - без сомнения, поспешил домой, чтобы до дождя свезти хлеб с поля. «*По-хазяйськи* поступил», - думал я, вспоминая разговор с ним, и пуще прежнего сердился на вора. Надо нанимать новую подводу. По крайней мере я тем был обрадован, что недолго пришлось искать ее. Новый подводчик был солдат, да еще артиллерист, ехавший из Киева на паре отличных лошадей. Вспомнил я поговорку: «Пьяница на флоте, богач в кавалерии, дурак в пехоте, а умный в артиллерии», и рад был, что не придется читать наставлений себе во вред.

- Едем, служба!

- Едем, барин!

И мы отправились.

Мы в Белой Церкви. «Здесь надо запастись съестным, чтоб не пришлось голодать снова», - подумал я и отправился на базар; арбузов горы, фруктов мало, дынь вовсе нет; менялы сидят - были бы крупные, а разменять не беда. Купил я два пшеничных хлеба за десять копеек и чуть не два аршина колбасы за пятнадцать и принялся уминать, севши на повозку. Между тем начался дождь. Чем более укорачивалась моя колбаса, тем сильнее становился он, наконец полил как из ведра. Уж и зонтик не защищает. Плохо дело! Небо серо, конца нечего ждать.

- Едем, служба!

- Едем, барин!

А дождь все усиливается. Поле обратилось в сплошную лужу, под колесами, однако, твердо. Между тем мой артиллерист едет шагом, будто пушку везет. Дорога ровная, даже несколько пока- та вперед.

- Скорее, служба, - сказал я, - после, когда раскиснет, не по- спешишь.

Служба, вероятно, не расслышал, а я очень хорошо слышу, что у меня течет за шею и добирается до пояса, а по ручке зон- тика натекло полные рукава. Притом начался холодный ветер.

- Пожалуйста, служба, поскорее.

- Я уж слышал-то, - сказал артиллерист угрюмо.

- Зачем же ожидать повторений? До Умани ведь еще не бли- зко, так едучи, и за неделю не будем.

- Будем тогда, когда бог даст; а я спешить не стану.

- Но ты едешь, как волами.

- А вам хочется по-курьерски?

- Мне хочется ехать так, как обыкновенно ездят благоразум- ные люди на лошадях, т. е. рысью, а шагом возят только тяжести.

- Вы имеете свои уставы, а лошадь имеет свои. Спешить не стану, хоть вы тут и распинайтесь, - сказал умница из артилле- рии.

Оставалось покориться судьбе. Я только решился переменить артиллериста при первой возможности, хотя бы и среди поля. От этого, однако, мое положение не улучшилось. Дождь лил, я про- мок насквозь, так что протекло и сквозь подушку, на которой я

сидел; а умница-артиллерист шажком да шажком. Так шажком вез он меня с утра до поздней ночи и сделал всего двадцать верст. Артиллерия показалась мне уж слишком тяжелою.

Не раз и прежде приходилось мне ночевать в том селе, которое было перед нами. Я знал, что там огромная корчма со *стациями*, и несказанно обрадовался, заведевши огонь. «Дам, что дам, зато обогреюсь, напьюсь чаю, хотя бы из грязнейшего самовара, и не буду видеть спины своего умницы», - думаю себе. Но чу! Музыка. Где бы это? Прислушиваюсь, - еврейское «эй-вэй». В корчме, значит; поэтому нечего ждать добра. Вот судьба! А музыка бубнит. Артиллерист же мой все шажком да шажком. Наконец пришагали мы до корчмы.

- Можно заехать? - обратился я к первому попавшемуся еврею.

Случилось так, что это был сам арендарь.

- *Нима* заехать, - ответил он, - *у мне* гости, свадьба.

Дождь между тем продолжает лить, а вода сквозь повозку так и журчит. Лучше бы и здесь кабаний концерт да сухая комната, нежели настоящая музыка, в такт которой стуча не попадали мои зубы под дождем.

- Кто виноват, служба, что мы здесь, а не дальше встретили ночь? - обратился я к артиллеристу с намерением упрекнуть его.

- Нешто мы в татарщине, - отозвался он хладнокровно, - народ крещеный, примет.

- Прошу хоч і до мене, - сказал подошедший крестьянин, - у меня хата теплая, зогрієтесь; а в клуні соломи по бальки, буде де виспатись.

Спустя несколько минут я сидел в жарко натопленной комнате, а мой багаж был развешан для просушки. Обязательный хозяин отвел меня в клуню, давши свой кожух вместо одеяла. Растянувшись на соломе и завернувшись в кожух, я скоро забыл свое горе. Под влиянием теплоты я уснул прежде, нежели хозяин затворил дверь, выходя из клуни; и уже серый день засматривал в щели, когда я проснулся. Мокрое белье высохло на теле, и мне так было тепло, уютно под кожухом, так не хотелось вставать. До сих пор я думал, что, кроме меня, никого нет в клуне, и вздро-

гнул, услышавши вопрос:

- Который час? Я думаю, будет девять?

- Не знаю; я только проснулся,- ответил я и спрятался в чужой кожух, как улитка в свою раковину.

Голос показался мне знакомым, но никак не удавалось вспомнить, где и когда я слышал его. Я наскоро обулся и пошел в избу. На дворе было чрезвычайно гадко; небо грязно-серое, земля черно-грязная; с крыш изредка капало иной после вчерашнего дождя, и после инок капли вскакивал пузырь, чтоб от следующей лопнуть. И поделом - не дуйся. За мною шлепал и товарищ по ночлегу. Я не утерпел, оглянулся. Лицо знакомое, но где мы виделись?

- Хорошо спалось, служба? - спросил я своего артиллериста, шедшего навстречу с охапкою сена.

- Привычному и стоя хорошо спать,- ответил он, даже не посмотревши на меня.

- Что за угрюмый господин? - спросил меня товарищ по клуне.

- Солдат, мой подводчик,- ответил я.

- А прежний где?

Этого вопроса было достаточно для меня, чтобы вспомнить весь давешний ночлег с кабаньим концертом, свои часики, и то, что голос и лицо шедшего за мной принадлежат тому, что ночевал давеча в одной со мною комнате, как теперь в клуне. «Погоди же, голубчик, я тебя накрою»,- думал я, будучи уверен, что вижу похитителя мизерной собственности. Не желая, однако, дать какой-либо намек о том, что я узнал его, я сказал: «Вам откуда известно, что у меня другой подводчик?»

- Неужели вы до сих пор не узнали меня? Я ведь ночевал с вами в одной комнате, по ту сторону Белой Церкви, и видел не этого, а другого. Я даже хотел было ехать с вами, но вы ушли.

- Я ушел?

- Да, вы. Вышли в сени и не воротились, а только прислали подводчика за вещами.

- За вещами? За какими?

- За своими вещами. Ужели вы не помните?

- Помнить я помню, но ничего не понимаю. Меня ведь там

обокрали, а тот подводчик ушел.

- Так знайте же, что он вас обокрал. Он при мне взял часы со стола, белый узелок, потом еще что-то и вышел. Больше я ничего не видел, потому что тотчас же отправился в путь. Я не прошел и сорока шагов, как он догнал меня. «Не видали моего пана?» - спрашивает. «Нет, говорю».- «Ну-у, поляцы!» - крикнул он на лошадей и поворотил назад.

- Ах, дворак-дворак! - сказал я,- ах, крепостное право!

- Вы, вероятно, предполагали, что я вас обокрал? - спросил собеседник.

- Признаюсь, да. Извините.

- Я не в претензии. Наш брат сельский учитель, да еще не штатный, в самом деле похож, по крайней мере, на карманщика. И нет ничего удивительного, что вы меня, *обдертуса*, сочли воров. Было бы гораздо удивительнее, если бы вы приняли меня за порядочного человека. Разве порядочные люди ходят в лохмотьях?

- Я, по крайней мере, знаю, что весьма многие, далеко не порядочные люди не только *не трясут драньем*, а, напротив, покупают дома. Но, извините, я предложу вам вопрос насчет вашей школы, если она существует.

- Не только существует, но даже процветает. У меня пятнадцать мальчиков и семь девочек.

- Поздравляю вас.

- Послушали бы вы, как бойко у меня читают в церкви! Словно горохом сыплет по решету. И не оглянись, как «слава» кончена. Только успевай, батюшка, с «паки и паки».

- Вы не причетник ли?

- Нет, я просто учитель; но устав знаю и учу часослову и псалтырю не хуже любого причетника.

- Так в вашей школе учат часослов и псалтырь, а больше что?

- Граматку.

- Этим, я думаю, начинают, а чем кончают?

- Кто граматкой, кто часословом, кто псалтырем.

- Значит, вы по старой методе учите. Бог в помощь. И если мне по дороге, то я зайду в вашу школу.

- Милости просим, милости просим,- сказал учитель, переменявши тон,- милости просим.

- Барин, ищите подводы; я дальше не повезу вас,- вмешался мой артиллерист,- не сходно.

Сказать правду, я от чистого сердца был рад этому отказу. Сверх всего я имел предлог остаться еще некоторое время в теплой комнате.

- Однако, служба, как же ты оставляешь меня, не нашедши другого на свое место? Кто мне отыщет подводу? - сказал я.

- Это ваше дело, а я свое делаю - дальше не еду: не по пути. Вот мне куда,- указал он на дорогу, круто поворачивающую в сторону.

- Не беспокойтесь насчет подводы,- вмешался хозяин,- я доставлю хоть и целый десяток. Теперь не то, что было под панами. Народ поправился; почти у каждого хозяина есть лошади.

- И дело,- сказал артиллерист,- теперь к расчету. Вы договаривали меня на три дня - за три с полтиной; я вез вас два дня, так мне следует два рубля, копейки уж дарю.

- Разве мы поденно договаривались? - спросил я, пораженный такой наглостью.

- Все равно, что и поденно. Вы сказали, что до Умани три дня езды; я два дня вез вас...

- Но где же еще Умань?

- Для меня все равно, где бы она ни была. Я только знаю, что вез вас два дня, и беру себе два рубля, а третий извольте получить. Копейки дарю.

Я решительно не знаю, что тогда происходило во мне. Я помнил только, что при договоре дал артиллеристу три рубля, и понимал, что за вычетом двух мне остается получить один. Артиллерист между тем положил деньги на стол, поблагодарил хозяина за ночлег, перекрестился на образа и вышел. Севши на повозку, он снова перекрестился и погнал лошадей крупной рысью. Где же те лошадиные уставы, в силу которых я ехал шагом и столько натерпелся? И за что мне теперь пришлось поплатиться? Относительно дворака, я обвинял крепостное право, которым, впрочем, никогда не пользовался; но что думать по поводу ар-

тиллериста?..

Успокоившись несколько, я хотел было снова начать разговор о школе, но учителя не оказалось. Хозяин объяснил мне, что он принял меня за ревизора, струсил и ушел. Таким образом, я лишен был возможности узнать село, в котором крестьяне считают необходимым обучать грамоте даже девочек. Жаль только, что доброе желание их осуществляется так плохо.

Новый подводчик оказался непохожим на прежних двух. Он в тот же день доставил меня в Умань; а сверх того, целую дорогу то пел, то говорил. Он передал мне много ходящих в народе рассказов про последнее повстанье,⁹⁶ которые, переходя из уст в уста, получили уже каков-то легендарный, сказочный характер.

- Отсе шлях на Медвин,- сказал подводчик в одном месте, указывая на дорогу, шедшую в сторону,- а вы знаете Медвин?

- Нет.

- И ничего не слыхали?

- Слышал что-то, но не помню.

- Не про панов ли? Вспомните.

- Нет, не про панов.

- Так рассказать вам, что там случилось вот теперь, перед последнею рухавкою.

- Отчего же, Расскажи.

И он начал: «Уже всем было известно, что паны скоро забунтуют; поговаривали даже, что они и войско составили, но где,- того никто еще не знал. Как вот довелось одному крестьянину - таки тамошнему жителю - идти медвинским лесом. Идет он, и байдуже. Вдруг фыркнула лошадь и слышались голоса. Вблизи нигде не было дороги, потому. Он начал прислушиваться: «Не воры ли?» - думает. Снова фыркнула лошадь, казалось, уже другая. Вот и снова - опять не из прежних. «Дай подсмотрю», - думает шедший и покрался орешником. Чем дальше подвигался, тем гомон становился громче, и, наконец, явственно раздались польские слова. «Эге! - подумал крестьянин,- чи не панки? Ану, а ну?»

То, действительно, были они. Сидят - кто в карты играет, кто

96 - ...рассказов про последнее повстанье...- Йдеться про польське визвольне повстання 1863 р. Воно захопило також окремі райони Київщини і Поділля.

за самоваром, кто за бутылкою; кругом лошади привязаны. Насмотревшись из-за куста, мужик подумал, какую бы пакость устроить *вражим панкам*? и, не долго думая, закинул кожух на голову да как закричит не своим голосом, как заколышет кустом! Лошади так и *пороснули*. Что разбили в становище, что опрокинули; не одного панка растоптали. И сами воины не меньше лошадей трусили. Они опомнились только тогда, когда пакостник был уже далеко, и начали стрелять. Одна пуля попала ему в ляжку. Однако он добежал до села и рассказал обо всем в волости. Волость тотчас же написала исправнику, а раненого отправили в городскую больницу - в Звенигородку, кажется. Два дня прошло после этого, а от исправника не было никакого распоряжения. Тогда священник написал генералу, который квартировал в другом городе. А раненый лежит да лежит без всякой помощи. Как жена перевязала рану, так она и оставалась.

- Лечите меня, господин доктор, ваше благородие!

- Пусть тебя лечит тот, кто ранил,- ответил доктор. Он держал руку за панками.

Вдруг является генерал:

- Где доктор?

Явился доктор.

- Укажите мне раненого поляками.

- Вот он,- указал доктор.

- Ось я,- обозвался крестьянин,- прикажите, милость ваша, хай мені виріжуть пулю. Я так і чую, де вона.

- Так вы до сих пор не вынули пули?

- Э, ваша милость, і рани не обдивились. Як жінка зав'язала, так і тепер. «Нехай, каже, лічить, хто ранив»,- сказал крестьянин.

- Так-то ты лечишь! Ты так будешь лечить и всех раненых? - обратился генерал к доктору и хватил его за усы, «да так і потягнув догори». Скривился доктор и молчит, а генерал крикнул:

- Кузнеца сюда с кандалами и с заклепками.

А в том городе отличный кузнец - умеет паровики починять. Вот и пришел он со всеми принадлежностями.

- Куй, только хорошенько! - сказал генерал, а сам как схватил доктора за ус, так и держит - и держал до тех пор, пока кузнец не

кончил работы.- Хорошо,- сказал тогда генерал и дал три рубля. Ей-богу, не лгу! А доктора как повели куда-то, так и след простыл.

Так вот оно как!

Ночью приехал доктор от генерала, но уже ничего не помог - раненый умер. Панки же ушли, благодаря исправнику. Он, говорят, отравился на дороге, когда был вызван в Киев».

Я задумался, рассказчик придержал лошадей и стал набивать трубку.

Хлеб был почти не тронут, но ни покосов, ни на корне не было видно; свекловица зеленела в стороне, и вдали виднелся дым. То грелся сторож возле своей будки. Дальше, по дороге к Умани, копны на поле становились реже не только вследствие своза, но и потому, что близко к Умани урожай был слабее - даже слабее прошлогоднего; солнце садилось, и вскоре передо мною заблестели огоньки Умани.

Я был весьма доволен не столько ездой в последний день, сколько самим подводчиком, и чистосердечно пожелал ему счастливого пути; но на дорогу ничего не дал, потому что у самого ничего не осталось.

Скучно и грустно передавать скучные и грустные истории; а мое путешествие отсюда становится именно грустным и скучнее езды с артиллеристом. Поэтому пропустим много времени, перескочим много городов и остановимся на с. Сербях. Это те самые Сербы, где казнен Гонта. Народ помнит катастрофу, и ямщик (я ехал почтою) указал мне долину, в которой совершена была казнь, но самого места указать не мог.

- Разве Гонту не в селе казнили? - спросил я.

- Должно быть, нет,- ответил он,- все говорят, что в той долине его казнили, а там нет никаких признаков жилья. А поймали его, говорят, в Грушке - село здесь недалеко - ляхи, переодетые в донцов.⁹⁷

97 - ...поймали его [Гонту] ...ляхи, переодетые в донцов.- Тут оповідач неточний. Підступно заманений царським військом, Гонта попав у полон і був виданий польсько-шляхетській владі, яка в с. Сербях поблизу Могилева-Подільського люто скарала його.

- Не поют ли чего про это?
- В детстве я слышал песню про Гонту и Зализняка, как они

Обступили город Умань,
Насипали шанці;
Вистрілили з семи пушок
У середу вранці.

Может быть, и теперь кто-либо знает больше меня; но я ничего не знаю, все перезабыл, а благодаря ямщицкой службе и вспомнить некогда.

Разбитые лошади плохо везли, разбитый колокольчик плохо звенел, повозка, тоже разбитая, ужасно дребезжала и так трясла, что захватывало дух. Теперь я рад был бы грязи, но где ее взять? Но хозяева желали погоды. Сентябрь приближался к концу, а копны еще густо стояли на поле, гречка же почти вся лежала в покосах. Только изредка виднелись черные копны ее в противоположность ярким цветам, которыми осень украсила леса.

Наконец я в Каменце - но нет; о Каменце я ничего не стану говорить. Все в нем противно для меня - и давнее прошлое, и теперешняя неудача, и узкие улицы, по которым от зимы до зимы, иногда и зимою струится серая вонючая жидкость, и театр, напоминающий конюшню, и *мури*, напоминающие польское владычество,- все противно, даже скалы, которыми некогда я так восхищался. Вода только не противна из так называемой *гунской криниці*, но пить ее мне не довелось. Криница слишком далеко за городом, а и мост через овраг, отделяющий город от криницы, возведен не более как до двух третей своей высоты. Каменчанам, следовательно, еще долго придется утолять жажду влагою из Смотрича, не отличающегося приятностью ни цвета, ни запаха. А воздух, воздух!.. Уйдем поскорее.

НАРОДНІ ОПОВІДАННЯ

ПРОТИ СИЛИ НЕ ПОПРЕШ; З ЧИМ РОДИВСЯ, З ТИМ І ВМРЕШ

I

Хороший цей світ, не надивитись, не налюбуватись на його, такий хороший. Широкий цей світ! Ні кінця, ні міри йому немає, хіба бог один знає; а біди в ньому, аж тісно: де ступиш, то або наступиш на псявіру, або спіткнешся; а минеш одну, друга нагибає, як не десять за одною. Хороший цей світ, та погано жити в світі. А хотівши вигнати біду з світа, треба попереду звести страшний суд, аж він вижене її; бо перепалить, переварить весь мир і всі закутки. Аж там біді кінець! А тепер!.. От нащо вже жінка! Приятель до гробу!.. А піди ж! Як опіє біда жінкою, то й болячки не треба: сотому заказуєш - «не женись». Дивлячись на тебе, другий і собі каже: «не женюсь»; а, не хочачи, спізнається, не злюбившись, повінчається і самохіть живе з жінкою, що весь вік проголубкаються. А той і любить, а жениться, то й світові не рад. Третій, збоку дивлячись, не знає, що думати, що й казати, хіба тільки, що кому в чім біда судиться, то все минеш, а того то вже ні.

От, для взору, жив собі пан в селі, як чашечка в меду, ні горя, ні біди не знав, а був собі панич. Батько вмер - ще він блазнюком був; та для пана це байдуже: з грішми і без батька долю знайдеш. А ще, неспричком, як тепер! Гроші лучче за батька до пуття доведуть... Так і він. Вивчився, які-то ще в давнину й науки були! От умів підписатись та сяк-так по друкованому пролізе, то і вчений уже. Собою був парубок статний, багатий і добряча душа! То кожен батько, що мав дочок, наставляв на нього пазурі. А він все перебирав і вибрав таке лихо, що й каміння гризе. Правда, хороша була, хоч кури! Брова чорна, стан високий, лицем біла, голо-

систа, а коса руса, як шовкова, аж влискується. Хороша, та й годі. Та істне торішня писанка, що зверху хоч цілуй, а всередині і сокирою не втешеш, та ще й носа затикай. Як пізнала його натуру, що м'який собі чоловік, то й прибрала в свої руки, а сама гайда по садку з паничами. «Гуляла б собі! Ну, гуляй, коли тобі забагається! гедзкайся! та нащо ж надо мною збиткуватися?» - каже було пан. А паня поб'є-поб'є та ще і в льох замкне; нагодує оселедцями та в'ялою рибою тощо і пити не дає. Поверх всього ще й сама сяде перед льохом на дзиглику та й виспівує - та ще так гарно, що й соловейка глушить! да все таких підбирає, щоб йшли проти чоловіка, що він назаперті, а жінка на своїй волі дознає всякої долі.

От так, як бачите, він сім літ бідував. Ні дітей не було, нічого аж на восьмім року послав господь сина. Зараз мати на мамки його віддала, а сама по-давньому догори головою пішла. Вже тільки чоловіка не замикала, а приставила до дитини: «Доглядай,- каже,- мого сина, бо як буде плакати абощо, то кожную сльозинку його на тобі десятками відіб'ю!...» Горе бідному панові, та й годі! І кінця не видати.

Сидить пан, дитину колише. А надворі аж дух радується: прийшов березозоль⁹⁸ і весну за собою привіз. Сонечко гріє, береза зеленіє; Біг розіллявся - ліси позаймав, що чуть верхи видно. Теплого Олекси вже минуло, і великдень на воротях став. Добрі люди давно вже посповідалися й забули, а паня тільки до сповіді тоді задумала, та ще й на той бік заблаглось її.

- Не їдь, жінко, бійся бога,- пан просить,- а то ще дитину осиротиш.

- Говори, Грицю, богородицю... Ти своє знаєш, а я своє.

Замовчав пан, а паня казала коня запрягати та й поїхала... Треба знати, що в тім селі порон не ходить, бо не було прикмети на пристань, а ходив вгорі верстов за п'ять проти води, вже в другім селі і в другім панстві. На цей перевіз і поїхала вона. На тім боці засиділась у ксьондза, що ген-ген сонечко з полудня звернуло, як прийшлось додому збиратись. Хурман просить: «Не їдьте!» Ксьондз просить, а вона: «Поїду та й поїду!» Це не те, що ди-

98 - Березень, значиться, марець ніби. Так його на Поділлі звуть.

тина слухняна або крепак нещасливий, що не їдь, то й мусить послухати; це була паня та ще яка! й богові з дороги не вступить було. Да поки зібралась, поки що, поки за дільниці⁹⁹ виїхала, то й сонечко спочило; поки на великий шлях вибились, то й зовсім смеркло. Трохи ще й приморозок взяв, як то весною буває, що саме погано їхати. Брѣохаються вони; а місяць пливе по небі, присвічує та наче осмішкується, що такою бідою їдуть, аж іскрить, присвічує. Спускаючись до пристані, заїхали вони в тінь - по той бік Богу скала-гора, дерев'я зовсім місяць заступили, якось так, що тінь б'є аж на цей бік да навскіс, клином; гора така - щовб.

- Подавай порон! - гукнув хурман з пристані, і луна розійшла-ся: «-ай порон,- озивається, -ай порон...» Сумно стало хурманові, тяжко йому на душі!.. У як у ярмо лізти, так йому на порон не хотілося, наче його душа вже чула. А пані собі розляглась - все любила з облігами - і байдуже їй.

- Подавай порон! - гукнув хурман другий раз. Заманячили по тім боці, і чути - шости грюкотять. А Біг пливе собі та береги лиже, аж запінився.

- Злізьте, пані,- заговорив порончик, як з'їхали вони на порон.- Тепер година,- каже,- небезпечно.

- Зась! дурню,- гукнула пані,- гляди свого носа, а мене розуму не вчи.

- Пані! Час на часу не стоїть!

- А звісне діло, відказала вона,- що не стоїть час на часу: от і ти - то не битий ще, а не замовчиш, скажу нагаями дати.

«Хай же тобі цур! - подумав порончик.- Я своє зробив, не буде гріха на душі, як що до чого».

Та й рушили на воду.

Серед Богу вода гребенем встала, гадюкою в'ється, що то береги високі, а там зараз і гори з обох боків, то ніде розгулятись. І збилась вже бистра на середині та, наче звір лютий, скалу гризе,

99 - Царина по пр[авому] б[оці] Дніпра, да ще загорожа; бо царина, як волоська царя, значиться, нива засіяна, а дільниці, то той рів, що навкруг села, що межі селом и цариною.- А де вони? - В царині.- Заняв з царини... В рові? З ро-ва? Чи що б то воно?

хлюпається, дереться, білі хвилі гонить та реве-реве!

Саме до цього місця пригнали порон, а тінь і урвалася; місяць на цілий вид так і викотився з-за гори та білим стовпом по воді скаче. Коні сполохались - фррр! та назад і рвонули. «Ай! - скрикнула пані, і тільки хвиля чмокнула. Хитнувся порон і пішов кружала за водою; порончики наче остовпіли. «Jezus-Marya!»¹⁰⁰ - скрикнула паня, вигулькнувши, і тільки мигнуло поперед очі.

- Човна! човна! - закричали з порона. А човна нема - на пристані був і то дірявий; сказано: порон жидівський, то яка там може бути справа? Поки дали знати в село, поки рибалки позбігалися та свої човни позволікали, що бог знає де по кручах на припоні стояли, то вже пора було не рятувати, а потопляників шукати.

- Диви! диви! щось з води лізе,- закричали всі, як побачили, що наче коні з води лізуть... А то і справді - були коні, і ридван ззаду, і хурман сидить - як замотав руки в віжки, так і вмер, що не розмотав, а захвартушився, то вода його не знесла, а паню знесла вода.

Закинули рибалки раз-другий сітями і витягнули паню та й прибили кілочком до кручі за сукню; і вона, що за годину так грізно відповідала на добру раду, без духу, без хуху, як поплавець на воді, гойдається попід берег. А коса, така хороша, стелиться по воді за бистрою, і в ній рибка грає. Жаль вроди тої пані, що така паня хороша була, та здалось на наругу! Збігаються люди, зглядаються, що брова чорна, як вуголь, рівна, як пuzликом вивів, а на біле лице вже моравиця виступила, і посиніли рожеві губи, що так гарно цілувалися, і завмерли ті писки, що так любо осміхалися... А душа ж де?... Може, душа тут же літа при воді та на своє тіло поглядає: «Яка ж погана колода!» - каже...

Приїхав сільський пан, дали знати і чоловікові цієї втопленої, та й на другий день, чуть на зорю, взяли паню в домовину і повезли додому, а там у Ладижин ховати. А хурмана закопали при березі, жінка на який-такий хрест постаралася та гіркими слізьми заливалася і вмерле тіло споліскувала; та голосила над ним - голосила! аж гілля гнеться.

100 - Матір божа! (польськ.). - Ред.

II

Втопився хурман, збулась жінка чоловіка, втопилась пані, збувся чоловік жінки, та збувся ж і біди з хати! Як поховав паню, то мало аж навприсядки від гробу не йшов.

- Слава тобі, господи,- каже,- що я збув біду з шиї! То постій же тепер! - каже,- дам же я своєму синові науку, що піде слава на весь світ, такий щасливий буде! Якби й мене були на розум учили, то й я не знав би був біди, був би не женився.

Купив хутір в лісі, збудував хату і засадив туди свого сина - місячну дитину - межи самі хлопці. Та як він був ще цицьковий, то пан нагнав щось зо три дійних корови, накупив мізюків¹⁰¹ і казав годувати.

- А жінка,- каже,- не то щоб ногою не була й коло хутора близько, а навіть як хто згадає про жінку, що є вона на світі, то в гріб ужену.

- Добре, пане! - озвались парубки і взяли панича на свої руки.

От і росте хлопець як вода, як зелена лобода в полі, так він у лісі. А пан приїде - подивиться, скаже то се, то те, зробить порядок, по своїй голові, та й поїде додому. І ген-ген знов довідається. Далі почав і частіш навідуватись, почав синка й до науки привертати. Той і вчиться, і читає вже, от вже й розуміє, що читає. А пан все йому толкує на своє, що тільки й людей на світі, що хлопці та чоловіки; а як прийдеться, що треба жінку згадати, то на ню гори верне - та й годі. І образків таких доставав, що йшли йому до ладу. Так і хлопці навчали панича, то він і вірив, що жінка й злидні - то все одно. А батько аж в гору росте, що син буде щасливий, бо не тямить світові ладу - тільки й знає, аби йому їсти досить; а голий, то й голий, а босий, то й босий - йому зарівно.

На чотирнадцятім року, чи що, прийшло паняті в голову, звідкіля він взявся на цім світі. Думав-думав та й нічого не видумав, хоч думав, може, й немалий час; то взяв та й питає в хлопця: «А ти, чуєш, не знаєш, звідкіль я взявся?» Пан учив, що хлопці для його потіхи на світі, для послуги, сказано: попихачі. Того він і

101 - Рожок, що дітей годують, як нема покорму в матері.

каже: «чуєш», а не «брате».

- А звідкіль взявся? З землі виріс! - каже той.

- Як-то з землі?

- А так з землі, та й годі. Як гриб, так і ви.

- А ти ж як?

- Я маю маму.

- Що то за мама?

- Мама, та й годі - сказано: мама, то чого ж більше.

- То ти маєш маму,- панич каже,- а я ні.

- А ні,- озвався хлопець.

- То й, кажеш, з землі виріс, як гриб, а ти маму маєш... гм!.. маму... А ті решта хлопці також мають маму?

- Мають і вони,- відказав хлопець.

- То тільки я виріс з землі, як гриб, а ви всі маму маєте... Чого ж я можу ходити, як і ви, а гриб не ходить?

- Бо ви живі, а гриб неживий, бо він приріс до землі, а ви то ні.

- Чому ж я не так, як гриб, що росте і не ходить,- так і пропаде, що сам по собі з місця не зрушиться. Коли ж я ожив, чи, може, я живий і з землі виріс?

- Ото це! - каже хлопець,- така пора настала, що треба було ожити, то ви й ожили. А попереду вас не було, і ви були неживі.

- Коли ж та пора була, коли минула? Як це діялось?

- А так,- хлопець каже,- пан поїхав собі на полювання, а прийшов додому,- дитина знайшлася - хлопчик, як качав. Пан зараз же почав того сином звати, набрав хлопців і казав сині годувати. То цей хлопчик був ви, а то ми, а то ваш папонька - пан. От і вся штука. Більше я не знаю і не питаєте.

Не задовольнився панич, ходить, думає та й видумав: «Може, воно так і справді є, що я виріс, як гриб, а вони мають якусь маму; бо вони невірники, а я пан, та нащо мені мама? Та, й що воно таке та мама, що я її не знаю і ніколи не бачив? Мабуть, у мене і справді мами не було й нема. На щось воно і мама якусь...»

Так і забув, і повірив, що пани з землі виростають, як гриби, а люди то ні,- якусь маму мають попереду. А вона десь їх бере, щоб пани мали ким послуговуватись... «Мабуть,- видумав панич,-

мама, що вони називають,- то чи не доля панська часами абощо, коли дбає, щоб панам па робітника не збувало...»

От вже паничеві і вуси засіялись, далі вже таки й густенько зачорніло попід ніс, як приїздить батько в ліс. Поговорив з паничем і побачив, що він не тямить світові ладу, та й давай підбріхувати, що пан, каже, зовсім друге діло, а не пан зовсім друге. «Ці мають маму,- каже,- а та мама, як коробка, що в ню треба сипати що-небудь - от зерно абощо - так і мама. А пани мами не потребують; вони й без мами родять».

- А без батька? - панич запитав. Пан гикнув, а хлопець підхопив: «Ого-го-го! Скільки панів без батьків на світі!.. і град би їх не перебив, що по місті собак душить».

- Зась, дурню! - гукнув пан,- тебе не питають! Без батька,- каже,- бува пан, як батько вмере.

- Ага,- озвався панич. А хлопець каже: «І я так думав сказати, що як умре пан, то панич і без того вродиться - без пана,- без батька нібито, так собі бува падалишний, самосійка, значиться».

- Гляди,- каже,- свого носа, бо втру,- гукнув пан. Хлопець шурнув у двері, а пан почав далі щось там городити та все на свою руку горне. Але думає собі: «Треба ж таки йога з лісу колись вивести, бо не сьогодні-взавтра очі заплющу, тоді що? З торбами піде, чи що? А села ж як?» То й казав коні запрягти, взяв сина і повіз просто до міста.

- Куди ми їдем? - питає панич.

- До міста, сину,- каже тато.- Ти ще не був у місті - побачиш, які там дива! Коники повироблювані, песики не живі, а як живі брешуть, креміння, кресала, що багаття крешуть, тютюн, всякі крами, всякі ласощі... Сказано: в місті.

А панич так слухає. «Ото,- думає,- надивлюсь на ті дива! налюбуюся, які-то вони, що я їх зроду не бачив».

От і до міста в'їхали. Панич все розглядає та розпитує: «А то що? а то? а то?» Батько все розтолковує і завів аж у крамницю - то-то йому подобається... Да йому все подобалось - і то гарне, а то ще краще, а то ще. Купувати ж нічого не купує, тільки ріжків щось з хунт купив, і то сам батько.

Так проходили вони до самісінького вечора, що син все роз-

питував, а батько все розтолковував. Поки ж було тісно, як на ярмарку - сказано, то нічого; да от і сонечко сіло, на ярмарку зрі-
дло, і так гарнесенько надворі - ні пече, ні холодно - саме гуляти.
То панства й висоталось на місто, наче з рукава його висипав. Та
все такі повбирані - куди-куди! І панянок гурточок іде - хороші,
як ягідки, да перещеплені, як оса, на стану погойдуються. А па-
нич і завважив й та й розглядає.

- Овва! - озвався батько і каже: - Тікаймо сину! - і майнув собі.

- Чого, тату, втікати? - промовив син, і собі за батьком, аж
підбігцем.

- А он! Не бачиш? - показує на панянок.

- Та я бачу, тільки не знаю, що воно за диво таке.

- Покуси, сину, покуси! Втікаймо!

І пішли. А панич все приглядається, аж стає та придивляє-
ться, і заговорив:

- То це ті покуси, тату, що ви говорили мені?

- А це, сину! - озвався пан,- то від них все зле на світі.

А син озвався:

- Хоч вони й покуси, папонька, а проте хороші собою. Диві-
ться - які чорноброві та білолиці! А як бадьоряться!.. І щось же-
бонить собі - га-а-а!.. Папонька! Чи бачите? І сміється - га-а-а!..

- Та я вже бачив їх не раз! і знаю, що вони й гарні, і все. Спо-
чатку навіть і добрі видаються, а як уже спійме й в свої руки, то
и годі не знає - мучить.

Панич слухав і не слухав; його все кортіло зачепить покусу,
та не знав як. То він і заговорив до тата:

- А їх,- каже,- за гроші можна достати?

- Чому ні!

- То купіть мені! - кинувся панич, як опарений.

- Цур тобі! А це нащо? Ото це! Для чого вони тобі?

- Одну лиш, тату, я більше не хочу! Оту чорноброву, що біле
личенько та карії очі.

«От тобі й вивчив! - дума собі тато,- пропав хлопець, та й го-
ді...» І ходить сам не свій, мало не плаче, а син все своє та й своє:
«Купіть, папонька, покусу...»

Що тут робити?! Завіз батько ізнов до лісу та ще строгіше за-

казав про жінок не говорити. Да панич і сам про жінок не згадував? А все лиш про покуси, про дівчат, значиться. І таки женився і жив, ще й куди як добре!..

Отаке-то диво цей світ! Що б, здається, хлопцеві обійтись? І батько на те ж вчив! Та ба - проти сили не попреш, з чим родився, з тим і вмреш... І підчепить інший біду, що неабияк і скараскається; а другому, то карай, боже, і повік: з жінкою щастя, як рукою пригорнув. Тим-то я й казав, що, дивлячись збоку, не знаєш, що думати, що й гадати.

О дівчата-дівчата! Бодай же вас опанувало! Нема добра, як дівчина, та нема ж і лиха, як вона!..

НЕДОКОЛИСАНА

I

В одного пана було три дочки. Дві ж було - як було, а третя вдалась йому така гарна, що не надивитись, ні налюбуватись, як намальована ходила - найстарша була. Та зате як хороша була, так і вередлива. Ніхто нічим не догодив їй ніколи в світі. Як би до ладу не було зроблене, и вона все-таки приклячку знайде і торкоче, свариться, лається, а кого може, то й поб'є. Спочатку батько й мати було посварювались на ню, і носом в куток ставляли, і на коліна. Поки ж була меншенька, то ще було слухає; а як на стану стала, то вже й батькам таки ніяково було, а то й сама таки не подавалась, та ще як визвіриться бувало, то й не рад, що зачепив, хоч в мишачу дірку ховайся.

Бачивши, що нічого не помагає, батько й плюнув: «Цур тобі!! пек тобі!! вже не маленька єси, сама шукай світові ладу, а я з тобою кінця не виведу».

Згодом так і мати зробила: «Роби,- каже,- доню, що тобі любо та мило, а мені вже докучило сваритись на тебе, да таки, бачу, тобі слова мої, як вмерлому кадило».

Друге б схаменулось; де ж таки! батько й мати цураються, тільки що з хати не женуть; а ця собі байдуже: «Овва,- каже,- менше говоритимете, менше буде клопоту».

От середульша панянка посваталась, от і весілля наступає. На другу, то вже пливала б у сльозах; а ця вередує, свариться, вганя по надворі, всякого знайде, всякого товче, голомшить,- біда, та й годі.

Віддалась і найменша, вже й діточками кланяються; а найстарша все дівує - ніхто й пальцем не кивнув, ніхто й не крукнув; таку славу по собі пустила, що всі її обходили, як що лихого, нечистого.

- Хай щезає,- кажуть було кавалери,- коли батько з нею не вживеться, то чоловікові й не кажи.

Сумує батько, мати печалиться, а доня гуля, як вода в прірві -

що нічим її не спиниш. Хто не знав, то ще було заходжають, і на перший раз вона вміла примаслитись; а при хорошій вроді та при грошах, то й до серця доріженька втерта. Паничі було по першій частині без душі від неї: «Без жовчі,- кажуть,- дівчина! А очі! а брови! ой-ой-ой! і спиш, то вона перед очима».

А по другім, по третім разі як вийшов без синяка, то дякуй богу.

- Да вона,- кажуть було, втікаючи настрімголів, мабуть, не сповна розуму або осою загодована, що така безпардонна,- чи свій, чи чужий, так і тягне через лоб, не зважає ні на що.

Мати плаче, аж заходиться, що покарав бог такою донечкою; батько ходить сам не свій, наче гроші загубив або наче йому остання худобина відійшла - зсахарив господь Марусю. А приїдуть ті - повіддавані, аж любо оком зглянути; такі молодиці, що куди! і діточки, як квіточки, хороші, коло них звиваються та жебонять любенько. Аж дух радується, ізбоку дивлячись. Що ж би то батькам, якби не та добренька! Да нема на ню ні шлюбу, ні згуби - звивається перед очима, цоконить, б'ється; то, замість веселості, серце розривається, що сплосили таке диво собі на лихо, людям на наругу. Ніхто вже і в двір не загляне, хіба приятелі панові та панині приятельки, а більше ніхто й заром не бува. Далі й це перестало, наче той двір заджумлений стоїть.

II

Надворі зима - хуртовина, що й світу божого не видати - мете, крутить, гуде, аж палац здвигається, та мороз-мороз! аж голки скачуть. То надворі так - холодно, зима! А в хаті Маруся гарячку поре, аж пóти ллються, весь двір догори дном поставила, розходившись. Слуги плачуть, батько десь заховався, що й [зі] свічкою не знайти; мати також ген-ген, за десятий поріг забігла та сидить собі, співає, щоб того галасу не чути - всі, як поварені, наче на похороні, одна Маруся окунем стає.

Під цю годину, ніхто й не завважив, заїхав перед палац чотирма кіньми, добрими санками розмальованими, якийсь опуга-

ний пан; зліз із санок, обтріпався на рундуку, обібрав лід на вусах та й пішов до палацу. Зостався сам машталір надворі, обернувся кіньми і ворчить сам до себе, дивлячись, як пара з коней встає. Далі хтось вийшов, казав сани в возовню затягти, а коні в станю завести; і знов завіруха гуля. У другого хазяя сільського бодай би гуси герготали, а тут і того не було.

Може, в цю пору хто блудив у полі і духу вже пускається; та що кому до того? Тепер такий світ настав, що один одного рад би в ложці втопити, то з біди врятувати не кажи. Нема, як було давно! все забули!..

- Ага-га! - заговорив пан домашній, як гість до хати ввійшов, - копа літ! копа зим!.. Що це тебе принесло - чи човен, чи весло? чи, може, хуртовина загнала? - додав, уже поцілувавшись.

- Ні те, ні друге, ні третє, а приїхав тебе відвідати.

- Спасибі! Спасибі за пам'ять! Сідай лиш. А то можна подумати, що ми посварились абощо, так давно один у другого не бувавши.

Так вони почали і далі потягли - далі-далі, далі-далі, геть за все переговорили - і за озимину, і за ярину, і за пасіку, не раз сіпак згадали, не раз вуса підкручували та й дійшло аж до дітей.

- А що,- пита гість,- твоя біда - так Марусю величали - ще в тебе на карку чи вже кому другому на плечі сіла?

- В мене ще, та, мабуть, і до смерті не скину.

- Хіба що?

- Немовби й не знаєш, що хрону й собака не нюхає. А вона гірш хрону в носі.

- Як-то гірше? чи вона тобі не вродлива, чи не багата?

- Багата, та зубата, вродлива, та вередлива,- з жалем відказав батько, головою похитуючи, а гість і каже:

- Хоч? Я тобі зятя висватаю - *а дзельни хлопец!*..¹⁰²

- Та цур йому! щоб і костям не було спокою. Не хочу.

- Та не бійся; я все йому розказував, а він каже: «Я й сам все те знаю, а таки посватав би, якби віддали за мене».

Задумався батько; бо яка б вона не була, а все батькові своя кров.

- Ну як? - запитав гість,- добре, чи що?

- А хто ж він такий? Може, який попович абощо?

- Ні, *пане добродзею!*¹⁰³ з поповичем чи смів би я нависватуватися? просто *шляхціц*, ще й давнього роду - *чловек шляхетни і бардзо пожондни*¹⁰⁴ Правда, в калитці гуде воно - гуде, *вшак*¹⁰⁵ же не без гроша.

- Не знаю, що й казати,- озвався батько.- Це дочка моя, а хто своїй дитині не жичить добра, той і в пеклі не знайде стільця по собі; да не годиться і чужих дітей кривдити. На твою волю здаюсь.

Через кілька час панна сватача виглядає - причепурилась, прибралась, всякого фантя на себе начіпляла, брязкотиння понавішувала і походжає, як павич, погойдується, наче її на ресори взяв - знать від усіх вона не відродилась була. Далі як розходитьсь - боже ти мій!

- Гамуйся, дочко! що тобі такого? Негарно ж як, слуги ходитимуть з попідбиваними очима. Сьогодні кавалір буде, а ти таку содому підняла,- заговорила мати.

Маруся й послухала, може, первий раз на віку... Саме на це і кавалір приїхав. «Цс!» - панна каже, і в хаті чути стало, як муха летить. Увечері і посватались.

- Може, ти не знаєш моєї дочки,- каже пан,- може, ти лакомишся на її багатство, а не знаєш, яку біду береш на свою шию? Хоч - я розкажу.

- Ні,- каже той,- і на гроші не лакомлюсь, а знаю все про панну Марусю, та вона мені подобалась, та й годі.

- Коли так,- озвався батько,- то боже ж вас благослови!

І помінялись обручками і хустки забрали; судженого, кажуть, і конем не об'їдеш.

103 - Пане добродію (польськ.). - Ред.

104 - Чоловік шляхетний і дуже порядний (польськ.). - Ред.

105 - Однак (польськ.). - Ред.

III

Немовби дух святий хату перелетів, як вибралась ця біда. І пан повеселішав, і паня інша ходить, а що слуги, як випровадили панну - чи то бак молоду паню за обійстя, то аж перехрестились. Слава тобі, господи, кажуть, може, й для нас іначійший світ настане.

Бува на світі чоловік гірш хориби, що від його ні відхрестишся, ні відмолишся. Як збудеш його яким способом, то вже не знаєш, що розпочати - чи діло робити, чи попереду похвалитися. Така-то була і ця молода пані - гірш вередливого москаля в хаті. То й раділи всім двором, що збули одну; бо та одна за сто п'яних. А вона повіялася із своїм чоловіком вже в другу хату вередувати, немовби каже: хай і ті ще хрону понюхають, і цим пора вже покій дати.

Тиждень чи дві неділі на новім господарстві була з Марусі жінка, як бог повелів: і порадитись було з ким, бо на мозок її не бракувало; і приголубить, поцілувать було кого, бо гарна була, як весна красна, хоч вже трохи й матірня собі. «Лякали, страхали мене,- дума собі її чоловік,- а дасть бог, що з мого покинька ще люди будуть».

Та не було кому сказати йому: не кажи гоц, доки не перескочиш; бо частіш бува, що добра ждеш, а лиха сподійся, щоб не опіла біда зопалу; бо несподівано причавить, й як камінь зерно, та ще и мука не посиплеться, а так і запліснієш. Добре жити в надії на щось луччого, да тому, в кого й так на душі легко; *а кому бог не годить, то і в печі не горить* - такому нічого сподіватись, для його надія - то дірявий мішок на просо, решето на воду.

Да, мова мовиться, а хліб їсться - наш пан не дуже багато й добра сподівався, а так лиш, як то приповідають, надвоє бабі ворожили - як не вмере, то буде жити...

Пройшло дві неділі, чи що, Маруся почала голосніше говорити, далі то крикне, то стукне, то ногою тупне, а там коцюба не коцюба, що під руку навинеться.

- Сподівалися ми лиха,- заговорили слуги,- то воно нас і не минуло; от яка біда опіла. А пан каже:

- Жінко! що це тобі такого! осою тебе загодували, чи що?

- Ну-ну! не мовчи тільки, то я і тобі покажу, де раки зимують,- озвалась Маруся.- Бач, який справний знайшовся! Звідкіль ти такий вирвався, рада б я знати?

- Я то здешній, от ти то так що звідкіля?

- З батькової праці, з маминого живота! от я звідкіля, коли хочеш знати.

- А довго тебе колисали?

- Сім день і три ночі - щоб тобі повилазили очі...

- Е! то ти ж іще недоколисана, коли так. Гей! хлопці! - гукнув. Збіглось їх щось, може, з десяток.

- Столярів мені,- каже,- ковалів!

Розбіглися вони, котрий за ким попав - той за столяром, той за ковалем, пан ходить, заклавав руки у кишені, а пані не сміється, ні,- аж духу пускається.

- От тобі й виріс,- каже,- от тобі й вивчився! Побачим-побачим, що то з того буде...

- Колиска буде, а ти думаєш що?

- Я думаю, що тріски з її летітимуть та кожна тобі в голову.

- Побачим, чи хоч одна полетить!

- Поназдивишся!..

- Побачиш! Я ж скажу окувати, то куди ж й тобі, бідній!..

- В голову! в голову! - закричала вона.

- Що ж? ти думала, що я тебе битиму? Треба ж було здогадатися, що добрий хазяй і худобину жалує києм обертати, а ти ж моя жінка! Як же тебе бити? Як на тебе руку підняти, коли ти така ж людина, як і я, і обоє рівні? Та й для чого тут битися, сваритися, коли я бачу, що ти недоколисана - що тебе треба тільки доколисати, то всі норови відлетять.

- Бач його, який сам доколисаний! А тебе колисати?

- Мене не треба, бо я не вередую, як ти - стало бути і доколисаний.

- Добре-добре! хай буде по-твоєму - що ти доколисаний, а я ні,- нехай буде й так.

Так моїм панам і день минув, що все одно до другого бундюжились та ходили, носи поспускавши, як індики! А ввечері й ко-

лиску принесли, мірою на паню, окована; гарна, ще й навели палітурою з покостом. Заплатив пан, а колиску казав заховати, поки пані знов розходиться. До цього щастя не довго було ждати! На ранок, чуть зоря забриніла, пішла содома у дворі; і панові поспати не дала, і вартівників познаходила, курей навіть пополохала! не то що.

- Хлопці! - гукнув пан. Зійшлися хлопці. Він, ще й не вбиравшись, вийняв скілька простирал, ковдру (одеяло) й та казав попруги тощо на вповивач позшивати, та и паню, гарнесенько вповивши, і в колиску положили. Ще тільки й пан вповивач готував, вона и питає:

- Скажеш роздягатись чи таки зовсім зо всього розібратись? - Так, значиться, на кпи.

- Нащо мняти шовк! В сорочці впів'ють тебе, голубко моя.

Вона й роздяглася до сорочки і сіла та й давай матіркувати, що нехутко з пелюшками справляються. Як простелили одно-друге простирало, поклали подушчину тощо, то пані лягла і руки простягла; почали вповивати, а вона давай ногами фацукати: «діти,- каже,- не мовчать, то й я не буду».

Сміються хлопці, регочуться і все вповивають - муцуються, аж чуби милом стали, а пані дригає, та й годі. Як дійшло до того, що їй, голубці, вже тільки голова зверху, то бодай плювала, бодай кусала, кого достане, а норову не кидалася. Як вповили зовсім як годиться, тоді вже взяли дитину вчотирьох і поклали в колиску та й давай колисати та приспівувати всіляких пісень, що до того йдуть: і «коточка» співали, і «дрімоти»... А пані все плює та свариться. Та що вона плює, то хлопці й дражняться - панову волю чинили: «Яка ж недобра дитина! ще й плюється!..» Що вона залає, то вони ізнов дражняться: «Дивись, бра! - кажуть,- як наша дитина говорить,- немовби старе. Ану ще так! а ну!...» Та все колишуть та співають... один втомиться, то другий стає. Сварилась вона, поки сварилась, а далі й перестала, бо голова закрутилась - вона й заснула. Тоді хлопці посідали і ні шеберх,- тільки сидять собі, як коло дитини, та поколисують, як пані поворухнеться. А пан пішов на пекарню, казав молочної каші наварити для тої дитини, що то хлопці колишуть.

Первим ділом пані почала сваритись, як прокинулась, щоб розповіли, а як її не послухано, то давай вона плювати - аж голову підносить, щоб прямо в лице попало. Ці хитрують та регочуться, аж луна йде по покоях; а вона, аж луна стає, свариться, клене всіх на чім світ стоїть - і себе, і батька й маму; і все шарпається, щоб руки визволити. А хлопці не дають, колишуть, гойдають. «Ай! ай!» - почала пані на все горло, як її докучило за кожен раз жахатися. Прийшов пан:

- Чого ти, голубко моя?

А паня як води в рот набрала.

- Чого вона розходилась? - запитав пан хлопців.

- Не знаєм,- кажуть вони.

- Ну, котю, чого ж ти хочеш? - знов питається пані. А вона ні пари з губи, тільки плює на кожного.

- Хочете ви, пане, щоб дитина в колисці та сказала, чого плаче! Мабуть, каші хоче або що,- заговорив хлопець.

- Мабуть, чи не справді,- пан каже, і послав за кашею. Принесли й кашу молочну, і мисочку, як для дитини, і ложечку, як дітей годувати. Пан став над колискою, студить і примовляє:

- О! моя красна жінка! Вона не буде вередувати, а буде їці, їці буде моя люба! Вона каші хоче та й вередує... Зараз дам і каші. Роззяв же рот, ну! ну, котю! касі! касю-ні!

І що він підведе ложку до губи, то вона плює на нього та й відвернеться. А з очей її аж іскри сипляться. Облилась тою кашею! І за шию потекло, і груди обляпала, а таки й не покушала.

- Е! не їсть! - каже пан,- мабуть, чи не слаба! Треба роман-зілля настояти... А ви тим часом колишіть,- каже хлопцям і пішов з хати. Почали хлопці колисати та приспівувати, а пані ізнов вередувати.

- Та спи ж бо! е-е-е! е-е-е! - один співає. А другий:

- Ну, котю! спатки ж бо! О! гарна наша панійка! Вона буде спатки! Спатуні буде наша пані!.. Ой то ляля! бити хоче... Я ж її дам!..- і буцім б'є: «А! а! а!» - так по колисці рукою; а другий: «Гм! - почав плакати.- А що, будеш?! Ото знай, вража лялю! Як то паню зачіпати».

Розсміялась вона на такі штуки, а після ще гірше розсерди-

лась.

Так колисали паню скільки день, що вона й ріски в губах не мала, і все сміялись, а вона все вередувала. Далі почали хлопці вговоряти, що як не буде їсти, то пан казав заливання зробити. Так то просьбою, то грозьбою вговтали паню, і вона казала принести їсти.

- Каші? - запитались няньки,- пан увсе позамикав,- кажуть.

- То й каші,- озвалась пані, аби збавитись від заливання. Та не лає своєму чоловікові - не лає - ні! і в маму, і в тата, і на всі лади бере.

Принесли каші.

- Розповийте ж попереду,- лагідненько загомонила пані.

- Що робити, браття? - няньки заговорили,- послухати чи ні?

Вагаються, значить; бо вже раз так було, що розповіли на її просьбу, а після десятком зійшлися, щоб уповити; то тепер вже й поставали, не знають, що робити, що й чинити - хто, пригадують, опаривсь на молоці, той на холодну воду студить.

- Розпів'єте ж чи ні? - запитала пані.

- А ви ж, пані, не будете вередувати?

- Ні,- каже,- без пана не буду, а тільки при панові.

- А як ми будем просити, що перестаньте, то послухаєте?

- Добре-добре! тільки розповийте; бо мені вже руки й ноги задеревеніли.

Розповіли її, а вона й потяглась: «А-а-а!»

- Росточки, косточки! - каже один хлопець.

Як би приском обсипав, так і це показалось для пані; то вона хіп - та й сіла, щоб зірватись на ноги. Хлопці й кинулись гуртом.

- О, ні! - кажуть,- цього то вже не буде.

- А чого ж ви, бісові діти, дражнитесь?

- То вже не будем, лежіть тільки.

- Коли ж я хочу на землю.

- А пан нам найгірш наказав давати вам таку волю. Дух, каже, вижену, як дасте її хоч ногою доторкнутись до землі і без мене.

- А! який-такий ваш пан,- почала вона; а хлопці давай просити, що дайте покій, бо вже нічого не вдієте. Бачить вона, що правду кажуть, та й замовкла і стала їсти - а то аж змарніла була не

ївши.

Як поколишали Марусю так щось з місяць, чи що, то вона і зм'якла, як віск від вогню. Бо то слабий полежиш який тиждень, то не можеш підняти, і то аж пече встати; на сонце боже зглянути, а це ж здоровісінька була та ще й така попендлива та прудка! То з її норомом в колисці гірш, як в фурдизі, та ще й зв'язана!.. І почала вже проситись у свого чоловіка:

- Пустити мене, голубе вже не то що, але й десятому буду закарювати що то вередувати.

- Не пущу,- озвався пан,- бо ти, може, іще вийдеш недоколисана, тоді що?

- Ні вже, соколе! сякий-бі, такий-бі, що навіть переколисана, коли хоч знати.

- Ні! не вірю! - каже пан,- треба й ще поколисати.

- Боже! Боже! - заголосила паня та в сльози і наче нежива опустилась, а ті вповивають. А пан стоїть, дивиться:

- А що - га? - каже,- добре колисатись! а смак!

- Та вже муч-муч! на те твоя сила; да хоч не потішайся,- заговорила вона плачучи.- Такий мені чоловік красний...

- Пустить її, хлопці! - заговорив пан,- побачим, що то з того вийде, що я послухаю. А колиску заховайте, бо хто знає...

- Бодай вона тобі згоріла! - загомонила пані, втираючи очі.

- Ша! жінко! бо скажу колисати.

- Ні вже - не буду, котю, то я лиш так собі...

Пройшло два, три дні, ба й місяць минає, ба от уже й до року сягає, а пані й не чути в обійсті, тільки в хаті уже й заправляє, а на двір і не подивиться, і в хаті, що й не пізнати: слуги для її рідні діти, а вона для слуг то рідна мати. Всі норови як рукою відняв,- і все пішло, як по маслі. Шовкова жінка, та й годі.

IV

Настало літечко. Яснее сонце не пече, як-то інколи буває, а наче теплою рукою по тілі водить, ягоди вже паліють і перший в'яз пішов на гоїрках.

От вийшла собі Маруся з чоловіком в садок, посідали та й голубкаються. А в старого пана якраз тоді йменини,- то посланець і йде від його, зняв шапку, поклонився і дає лист - тесть пише, що приїжджай, каже, до мене в гості та провітришся здебільшого; бо, мабуть, уже засквів єси до тристенного із своєю жіночкою. Прочитав він і її дав прочитати: «Подивись,- дума собі,- яка по тобі слава». Стала вона читати і, як яблучко червонобоке, зачервонілась і каже, прочитавши:

- Що ж, поїдеш?

- Як хочеш,- каже він.

- Як скажеш,- озвалась вона.

- То поїдемо.

- Будемо,- каже пан посланцеві і відписав до тестя, що конче буду із жінкою удвозі.

Як прийшла та пора, то й поїхали. Там уже були ті два зяті із жінками, із діточками, сидять собі круг стола та базікають про лиху долю Марусиного чоловіка, що висватав собі журбу, і всі лиха сподіваються. Якби така чужа дитина вдалася, кажуть, то і в подвір'я не варт пускати; а своє хоч яке воно, то своїм миле. І жартують, і кепкують, а серденько ние, що голову змиє, як приїде, хоч і в гості, та байдуже. І все в вікно поглядають, чи не іде, і вартового поставили, щоб за коливорот позирав і дав знати, як завважить. От вбіг вартовий: «Ідуть!» Зашамотіло все, заворушилось, наче в школі від учителя. Слуги, аж побіліли, поналякувались; а як зобачили Марусю в своїм обійсті, то й позавмирили. А вона так лагідненько до їх заговорює, кого здибле, і гостинця дала кожному, і осмішкується, наче й не вона це приїхала. Дивуються вони, перепитуються: що з єю такого сталося? вона, да не та!

- Мабуть, чи не того,- одно каже,- що не для єї двір, хоч він і батьків, а все ж не свій.

- Може, того, що давно була та ще не освоїлась,- каже друге...

Може, котре іще що знайшло сказати. А батько та мати лиш потерпають, що от-от розходиться. Тим і гостей не запрошали, щоб сорома не наробила. Ті зяті також переглядаються, і жінки їх собі. І всім дивно, що вона так красно бавиться; і весь двір

навшпинячки ходе. Ба ото вже й вечір не за горами, а Марусі й не пізнати; а цим іще душа не на мірі.

Як сонечко спочило, пані заговорили: «Купатись! купатись!» - і пішли всі три до купальні, що була в саду на озері. Пани вчотирьох тим часом зайшли в сад, посідали під липою,- може, чай пити збиралися абощо, а щоб губа не вакувала, почали кпити один з другого ті два молодших зяті, що в тебе жінка така! а в тебе така! тебе за ніс водить! а тебе за чуба смиче!.. Батько духу піддає - і всі регочуться. А третій зять - Марусин чоловік - ні до чого не мішається, тільки сміється за гуртом. От ті вдвох і причепились до його: «А ти вже й мовчиш про свою?»

- А мовчу,- каже.- Що ж мені й говорити, коли добра не гудять, а хвальби знов не потребує.

- То твоя жінка добро? - підхопили ті.

- А щоб ви знали...

- Ха! ха! ха! - засміялись, аж ворон в садку полякали.- Ніщо казати,- око бачить,- додали,- що Маруся добро, як табака в оці.

- Дай, боже, кожному доброму чоловікові таку жінку, як вона в мене. На долю не нарікав би.

- Да ти, мабуть, або сам недобрий чоловік,- озвались ті,- або вже й смак стратив та не тямиш, що то за добро в світі; бо ми, хоча й, може, і не добрі люди, а таких жінок, як твоя, і ворогам своїм не зичимо.

- Бо то ви, а то я! бо ви ж не знаєте моєї Марусеньки; тим так і думаєте, а як спізнаєте, то в другу заграєте.

Так слово по слову дійшло аж до закладу.

- Добро,- каже цей,- хоч-то воно й не годиться, а йдім і в заклад. Чия жінка слухняніша,- додав,- тому кожен по селу.

- Добре,- озвався тесть,- і я стаю до спілки.

- Добре! - зяті кажуть. І руку перебили.

- Тепер посилати за жінками,- каже муж Марусі,- котра прийде сюди, як вона в купальні, тої грало.

- Проба неабияка,- озвався тесть. То всі, хочу не хочу, на то пристали.

- Починаймо ж знизу,- каже тесть. Та й післали за найменшою. Пішла дівчина:

- Просить вас пан, щоб ви прийшли до них, як тут ви єсть. А пани під липою всі чотири.

- Піди ти до біса із своїм паном! що він, чи тепер здурів, чи зроду ума не має. Скажи йому,- каже,- що він самошедший.

Пішла дівчина і принесла звістку, що не хочуть, ще й самошедшим нарікали.

За другою пішла і теж принесла, що не хочуть, ще й самошедшим нарікали.

- То ви, значиться, вже програли?

- А ти, думаєш, не програєш? Коли наші сварилися, то твоя битиме.

- Зараз вивіримося.

І післав дівчину.

- Піди,- каже,- моєї попроси, щоб прийшла; кажи; що мені конче треба її зараз.

Не зразу дівчина й відважилась на таку штуку.

- Що ж? - кажуть пани.- Скажи та й тікай; твоє діло таке: чужа воля закон.

«Воно так,- подумала дівчина,- закон - то чужа воля, а покута - своє тіло». Зітхнула і постьобала по тій стежечці третій раз.

- Ідіть уже ви,- каже до Марусі,- вже ваш пан та прислали по вас,- а ноги наставила, щоб дернути, як що до чого.

А Маруся, начебто й не до неї пилося, питає:

- За мною?

- Еге ж! - відповіла дівчина.

- Зараз,- каже Маруся і вилазить з води.

Дівчина думала, що вона вже так і вмотається в коси; то вже і пелену підбрала, щоб не було перешкоди.

- Що се? куде се ти? - заговорили ті сестри, як побачили, що Маруся з води вилазить.- Вернись.

- Ні, не вернуса,- відказала вона,- коли чоловік прислав, то, мабуть, не для ради цікавості; да хоч би й так, то що ж...

- То на сміх, на потіху,- кажуть ті,- мабуть, уже не по повній хильнули.

- Вже то він знає, що робить. Як сміятимуться з мене, то через його, а мене шануючи, і його шанують.- Сказала і пішла

вздовж садком.

- Цур їй! що се з нею такого? Попався, жучку, панові в ручку.

А Маруся думає собі, йдучи: «Як не піду, то як іще почне колисати; то хай йому всячина».

Ще здалеки побачили пани, що йде вона, чоловік і кива: «Вернись! вернись собі!» Вона й вернулась до купальні.

- А що? - заговорив її чоловік, чия жінка слухняніша? хто виграв?

- Ми програли,- заговорив старий, та й до тих,- и давайте по селу.

Говорить старий як годиться, а на серці, немов млинський камінь, лягла тяжка дума: «Чи не попалась мишка в котячі пазури, що така слухняна стала». І могорич йому в пельку не лізе, що пили за її здоров'я.

Первим ділом постановив собі старий випитати в дочки, що воно таке значиться, і десть в закутку й питає:

- Що? Який твій чоловік?

- Такий добрий,- каже,- такий розумний, що дякую богу та й не надякуюся.

- Чого ж ти та зм'якла?

- Ет! - каже,- й не питайте; мені й самій чудно та дивно, чому я попереду не така була; а яка була - і спогадати соромлюся.- Та й пішла до гурту.

Так і бенкет пройшов, що ніхто нічого не довідався, так і розіхались, що ніхто нічого не знав, хоч як голови ламали.

Поїхали ті два сопучи, а цей із своєю жінкою, як голуб з голубкою.

Дорогою вона й запиталась:

- Що це ви посміялись хотіли, чи що, що послали за нами до купальні?

- Говори! - каже він,- ти й не знаєш, що там було, і не здогадаєшся, як добре зробила еси, що послухала... Ото на тобі, читай!

- І дав папери на ті виграні села. Взяла вона, прочитала та й віддає йому і каже:

- Ото будуть каятися!..

- Я думаю! Як же й не каятись.

- Добре ж ти, голубе мій, казав, що я недоколисана була!.. Мабуть же, ще й ті недоколисані, що не слухають своїх чоловіків!.. А я, то поки життя мого, слухатиму тебе, як божого гласу. Як то добре, що ти доколисав мене!..- І аж поцілувалися...

Дивіться, мами! доколисуйте ж! Бачите, як Маруся рада, що вже доколисана стала... А в нас багато! багато є ще недоколисаних, тільки самі не признаються, чоловіки не здогадуються, а паніматкам байдуже...

ПРИМІТКИ

ДВА УПРЯМЫХ

Вперше надруковано в газ. «Одесский вестник», 1869, 29 березня, №41, під криптонімом «А. С.» Передруковано в газ. «Киевлянин» (1869, 8 квітня, № 41) із скороченням ліричних авторських відступів: від речення «А я помню те детские кружки, которые в свое время собирались где-нибудь в густой ржи или на высокой горе, чтобы помечтать на просторе, вспомнить прошлое из жизни, которая только что началась» до абзаца «И после целую неделю вспоминаешь свое путешествие, ждешь субботы... Из нее могут извлечь хороший урок родители и воспитатели» включно; «И грустно, что мне суждено помнить и оглашать дела безотрадные. Почему бы и не улететь из памяти безвозвратно, как прошли те лета - лета надежд и доверия».

Автограф невідомий.

Включено до вид.: Свидницький А. Твори, 1965, с. 279-289.

Авторство А. Свидницького вперше обґрунтовано у статті М. Зерова «Анатоль Свидницький. Його постать і твори» (див.: Свидницький А. Оповідання, 1927, с. XLII) на підставі хронологічних збігів між біографією письменника і фактами, змальованими в оповіданні, близькості топографічних і пейзажних орієнтирів, а також деяких постатей і епізодів у «Люборацьких» та оповіданні. Пізніше цю версію підтримали і додатково обґрунтували В. Я. Герасименко та М. Є. Сиваченко.

Подається за першодруком.

НА ПОХОРОНАХ

Вперше надруковано в газ. «Киевлянин», 1869, 2 вересня, № 103.

Автограф невідомий.

Включено до вид.: Свидницький А. Твори, 1958, с. 245-254.
Український переклад твору надруковано у вид.: Свидницький А.
Оповідання, 1927, с. 32-45.

Поддається за першодруком.

НЕРАЗГАДАНИЙ ПРЕСТУПНИК

Вперше надруковано в газ. «Киевлянин», 1869, 16 вересня, № 109.

Автограф невідомий.

Включено до вид.: Свидницький А. Твори, 1958, с. 255-262.

Український переклад твору надруковано у вид.: Свидницький А. Оповідання, 1927, с. 77-86.

Поддається за першодруком.

ПАЧКОВОЗЫ

Вперше надруковано в газ. «Киевлянин», 1869, 11 жовтня, № 120.

Автограф невідомий.

Включено до вид.: Свидницький А. Твори, 1958, с. 263-272.

Український переклад твору надруковано у вид.: Свидницький А. Оповідання, 1927, с. 65-76.

Поддається за першодруком.

КОНОКРАДЫ

Вперше надруковано в газ. «Киевлянин», 1869, 14 жовтня, № 121,

Автограф невідомий.

Відтворені в оповіданні А. Свидницького факти мали масовий характер. У № 118 газети «Киевлянин», який передував пу-

блікації нарису А. Свидницького, житомирський кореспондент С. Станкевич повідомляв, що тутешні селяни змушені давати викуп конокрадам. В. Сикевич у статті «Из практики конокрадов» змальовував різні типи конокрадів: «обыкновенный конокрад», «нахальный конокрад», «конокрад экспромтом», «конокрад с залогом», «конокрад с молитвой» («Киевлянин», 1869, № 38-40, 53).

Подається за першодруком.

ПОПАЛСЯ ВПРОСАК

Вперше надруковано в газ. «Киевлянин», 1869, 30 жовтня, № 128; 1 листопада, № 129. Автограф невідомий.

Подається за першодруком.

ШИНКАРЬ

Вперше надруковано в газ. «Киевлянин», 1869, 6 листопада, №131. Автограф невідомий.

Подається за першодруком.

ЖЕБРАКИ

Вперше надруковано в газ. «Киевлянин», 1869, 11 листопада, № 133; 15 листопада, № 135.

Передруковано у «Волынских епархиальных ведомостях», 1870, № 3-4, із редакційною поміткою: «На Волині ще й досі у великі свята можна зустріти калік неприродно спотворених. Природа не так жорстока до людини, як насильницька рука злочинців. Ми чули, що ще 1868 р. сталося викрадення дітей в одне свято під час великого напливу народу. Може, злочинницьке скалічення відбувається і нині».

Автограф невідомий.

Включено до вид.: Свидницький А. Твори, 1958, с. 273-286.

Український переклад твору надруковано у вид.: Свидницький А. Оповідання, 1927, с. 46-64.

Цей нарис написаний під впливом безпосередніх вражень письменника. Разом з тим на формування задуму мали вплив літературні джерела. Подібні матеріали досить часто вміщувались на сторінках вітчизняних видань. Так, «Современник» (1860, № 9, с. 249-300) надрукував статтю «Нищенство и благотворительность», в якій йшлося про способи жебрацтва, а також про калічення дітей з метою привчити їх до жебрацтва. Тут, зокрема, описувався випадок, коли мати по родимих прикметах впізнала в такому каліці свою дитину. В «Киевлянин» (1869, 12 серпня, № 94) було передруковано статтю із «Русских ведомостей» про російських компрачикосів, які під час ярмарків викрадали і калічили дітей, перетворюючи їх у безголосих і потворних жебраків. Поява нарису Свидницького майже збіглася із публікацією двох перекладів роману В. Гюго «Людина, яка сміється» російською мовою. Один із перших дослідників творчості А. Свидницького український літературознавець М. І. Петров, відзначаючи зв'язок оповідання «Жебраки» із цим романом В. Гюго, в огляді російських творів Свидницького писав: «Багато в цьому оповіданні придуманого і розрахованого на драматичний ефект; але є в ньому й істинно побутові риси» («Исторический вестник», 1882, т. IX, с. 539-540).

Подається за першодруком.

«ХОЧ З МОСТУ ТА В ВОДУ»

Вперше надруковано в газ. «Киевлянин», 1869, 29 листопада, № 14.

Автограф невідомий.

Включено до вид.: Свидницький А. Твори, 1958, с. 287-290.

Український переклад твору надруковано у вид.: Свидницький А. Оповідання, 1927, с. 102-105.

Подається за першодруком.

ЖЕЛЕЗНЫЙ СУНДУК

Вперше надруковано в газ. «Киевлянин», 1870, 24 січня, № 11; 27 січня, № 12; 29 січня, № 13.

Автограф невідомий.

Подається за першодруком.

ЗА ГОД ДО ХОЛЕРЫ

Вперше надруковано в газ. «Киевлянин», 1870, 28 лютого, № 26; 3 березня, № 27; 5 березня, № 28; 7 березня, № 29.

Автограф невідомий.

Подається за першодруком.

ГАВРУСЬ И КАТРУСЯ

Вперше надруковано в газ. «Киевлянин», 1870, 7 травня, № 54; 9 травня, № 55; 12 травня, № 56.

Автограф невідомий.

Включено до вид.: Свидницький А. Твори, 1958, с. 291-312.

Український переклад твору надруковано у вид.: Свидницький А. Оповідання, 1927, с. 3-31.

Подається за першодруком.

АРЕНДАРЬ

Вперше надруковано в газ. «Киевлянин», 1870, 18 червня, № 72; 20 червня, № 73; 23 червня, № 74.

Автограф невідомий.

Включено до вид.: Свидницький А. Твори, 1958, с. 313-336.

Подається за першодруком.

ТУДА И ОБРАТНО

Вперше надруковано в газ. «Киевлянин», 1870, 24 листопада, № 140; 26 листопада, № 141.

Автограф невідомий.

Включено до вид.: Свидницький А. Твори, 1958, с. 337-348. Український переклад твору надруковано у вид.: Свидницький А. Оповідання, 1927, с. 87-101.

Подається за першодруком.

НАРОДНІ ОПОВІДАННЯ

ПРОТИ СИЛИ НЕ ПОПРЕШ; З ЧИМ РОДИВСЯ, З ТИМ І ВМРЕШ

Друкується вперше за автографом¹⁰⁶ (БАН, ф. І. Рудченка, од. зб. 66, № 1285).

Цей художній твір на фольклорній основі разом з іншими творами («Недоколисана», «Іван Доробало») входив до «Народних оповідань», які Свидницький 1861 р. надіслав з Миргорода для опублікування в «Основі». Оповідання з невідомих причин у друку не з'явилися, а після закриття «Основи» потрапили до колекції казок українського етнографа і фольклориста, доброго знайомого А. Свидницького С. Д. Носа, переданої згодом для публікації українському фольклористу й критику І. Я. Рудченкові (див.: Сиваченко М. Новознайдено оповідання А. П. Свидницького і їх фольклорні джерела.- У кн.: Сиваченко М. Літературознавчі та фольклористичні розвідки. К., 1974). Шлях рукопису з архіву «Основи» до укладачів колекції неясний. Так, І. Рудченко у листі до професора О. О. Котляревського вказував: «Между тем от Михайла Григорьевича Щербака я узнал, что все сказки, присла-

¹⁰⁶ - Публікацію цього твору й оповідання «Недоколисана» підготував М. Є. Сиваченко.

нные в «Основу», после ее прекращения будто бы переданы Вам» (відділ рукописів Державної публічної бібліотеки ім. Салтикова-Щедріна, ф. 386, од. зб. 101, с. 2).

НЕДОКОЛИСАНА

Друкується вперше за автографом (БАН, ф. І. Рудченка, од. зб. 66, № 1287.

Книга оцифрована в рамках проекту

«СУСПІЛЬНЕ ОЦИФРУВАННЯ»

Книгу оцифровував: **Денис Васюра**

Свидницький Анатолій Патрикійович

ОПОВІДАННЯ ТА НАРИСИ

311

Друкований текст для вчитування взято з:
Анатолій Свидницький. Роман. Оповідання. Нариси.
Київ, «Наукова думка», 1985.
Серія «Бібліотека української літератури»

Відмінна якість:
електронний текст книги
повністю відповідає друкованому оригіналу!

Книга оцифрована в рамках проекту
«СУСПІЛЬНЕ ОЦИФРУВАННЯ»
Книгу оцифровував: **Денис Васюра**

© Остаточне вчитування,
форматування і оформлення: **OpenBook**, 2018

© Електронна бібліотека
класики української та світової літератури
«Відкрита книга»

2018